



ЕВГЕНИЙ
ЮРИЙ

КРАСНИЦКИЙ
ГАМАЮН

ОТРОК

Перелом

Отрок

Евгений Красницкий

Отрок. Перелом

«АСТ»

2016

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-445

Красницкий Е. С.

Отрок. Перелом / Е. С. Красницкий — «АСТ», 2016 — (Отрок)

ISBN 978-5-17-098915-7

Как относиться к меняющейся на глазах реальности? Даже если эти изменения не чья-то воля (злая или добрая – неважно!), а закономерное течение истории? Людям, попавшим под колесницу этой самой истории, от этого не легче. Происходит крушение привычного, устоявшегося уклада, и никому вокруг еще не известно, что смена общественного строя неизбежна. Им просто приходится уворачиваться от «обломков». Трудно и бесполезно винить в этом саму историю или богов, тем более, что всегда находится кто-то ближе – тот, кто имеет власть. Потому что власть – это, прежде всего, ответственность. Но кроме того – всегда соблазн. И претендентов на нее мало не бывает. А время перемен, когда все шатко и неопределенно, становится и временем обострения борьбы за эту самую власть, когда неизбежно вспыхивают бунты. Отсидеться в «хате с краю» не получится, тем более это не получится у людей с оружием – у воинов, которые могут как погубить всех вокруг, так и спасти. Главное – не ошибиться с выбором стороны.

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-445

ISBN 978-5-17-098915-7

© Красницкий Е. С., 2016
© АСТ, 2016

Содержание

Часть первая	5
Глава 1	6
Глава 2	16
Глава 3	26
Часть вторая	38
Глава 1	39
Глава 2	51
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Евгений Красницкий, Юрий Гамаюн

Отрок. Перелом

Прежде всего я хочу отдать дань памяти Евгения Сергеевича Красницкого – создателя Мира Отрока, уникального человека, которому я многим обязан сам и, думаю, обязаны другие читатели, нашедшие жизненную опору в его книгах.

Глубокий поклон тем, без кого эта книга никогда не была бы написана – Елене Кузнецовой и Ирине Град.

Приношу свою благодарность и отдаю честь моим друзьям, живым и тем, кого уже нет среди нас – офицерам, прапорщикам, сержантам и солдатам, ставшим реальными прототипами персонажей книги.

Неоценимую помощь в работе над книгой оказали участники форума, посвященного творчеству Е. С. Красницкого <http://www.krasnickij.ru/forum>: офицер запаса Денис Варюшенков (Водник), Юлия Высоцкая (kathrinAnder), Наталья Немцева (Rada), Геннадий Николаец (Коняга), Александр Паньков (sanyaveter), Константин Литвиненко (nekto21), Андрей Баранов (Andre), Артем Кошляк (Ульфхеднар), Яков Коган (Скиф), Александр Семеникин (Дачник) и многие-многие другие. Благодарю их за конструктивную критику, полезные советы и дружеские дискуссии.

Юрий Гамаюн

Часть первая

*Все будет хорошо, поверь,
А главное – все БУДЕТ!
Прошли дороною потерь,
И кто теперь осудит?
Что пережито – все в зачет,
Держались, как умели,
Еще посмотрим, чья возьмет,
Когда мы снова в деле.
И не списать нас со счетов,
Прорвемся! Было хуже.
На сломе судеб и веков
Не сложено оружие!*

И. Град

Село Ратное и его окрестности. До 1120 г.

Глава 1

Ратник Макар

Темно... Так темно бывает только в последний месяц лета, когда все, от медведя до самой мелкой былинки понимают, что холода не за горами, и стараются запастись толстым слоем сала под шкурой, выбросить семена или просто насладиться мягким, добрым теплом, которое посылают лесные боги. И лес старается всякого пришедшего или здесь живущего одарить едой на зиму, одеждой и теплым домом. Именно в такие ночи убегают влюбленные на стога и тешатся запретным до рассвета. Никто им в этом не указ, ведь только и осталось дожидаться, покуда березы золотом поседеют. А там и столы свадебные не заждутся.

Темные это ночи, но нет предгрозовой духоты, нет и ветра. Раз от разу небо пугнет несколькими крупными каплями – и вновь тихо, ни звезд, ни луны, только слабый отсвет от углей походного костра. Не отсвет даже, а робкий красноватый намек – и правильно: полночь скоро; часовые, что с вечера в карауле, углей нажгли, а теперь сидят спинами к кострищу – и тепло, и глаза видят лучше. Новая смена заступит – тоже сперва ненадолго костер разожгут, да подальше от огня отойдут, а потом так же возле углей усядутся. Все, как всегда.

Тепло и уютно воину в походной телеге. С вечера шей горячих да каши вволю наварнул, квасом либо сбитнем залил и, потрепавшись чуток да поржав у костра вместе с товарищами над неизменными прибаутками, спать завалился.

Любил Макар такие ночи. Проснуться за полночь и, чуть поворочавшись, почувствовать мягкость и духовитость сена под собой, услышать спокойное фырканье коней и тихий говорок часового, рассказывающего молодому напарнику очередную байку про страшных упырей или половцев, мало деля их между собой. И опять, немного повозившись, неспешно уснуть, почти сознательно смакуя удовольствие.

Сегодняшняя ночь выдалась именно такой – тихой, теплой и спокойной. Послышалось, что Рунок, его конь, как будто стукнул чем-то и недовольно фыркнул. Макар усмехнулся в темноту. Как он был счастлив, когда вместе с поясом новика отец вручил ему и повод норовистого коня-двухлетки. Рыжего, как солнце, и такого же горячего.

Надо посмотреть, чем он там недоволен, а то, бывает, попона спадет, а слепням того и надо; или просто внимания просит – вроде боец, а словно дитя, без ласкового слова на ночь не успокоится.

Откинул тулупчик в сторону, поднялся. Ух, в ногу- то как стрельнуло, никак, отлежал? Точно – отлежал, не слушается совсем. Сейчас...

Но боль все не проходила, да и не занемела нога, а словно огнем ее обдало. И вокруг что-то не то – воздух не вольный. Макар резко повернул голову, и все рухнуло.

Вот только что он был счастлив, только что он, Макар, второй после Пантелея ратник в десятке, проснулся на походной телеге в поле. Только что Рунок звал его к себе. Только что! И – ничего нет. Совсем. И не будет. Никогда. Едва тлеющий огонек лампадки в углу сжег все его счастье.

Хуже всего глаза Верки – жены, которая сжалась в комочек и боялась даже носом хлопнуть. Видно, опять с вечера над ним ревела, словно хоронила. Хотя лучше бы и впрямь хоронила!

А где-то совсем рядом у изголовья, в не до конца растаявшем мороке внезапно оборвавшегося сна стояла, не желая уходить, ночная тишина походного бивака. Не мог Макар, никак не мог заставить себя вернуться из него в избу! Еще бы часок, еще бы немного счастья. Ведь было оно, было! Почитай, всю жизнь с ним в обнимку проходил, и не замечал.

Рвался вперед, торопил жизнь, все казалось – не то, не то, но скоро придет оно – настоящее. Что-то брезжило впереди, манило: протяни руку – и вот оно, заветное.

Для чего жил, для чего вообще жить стоило? Каждый поход – в радость. Каждый раз, садясь на коня, ждал счастья. Какого? Кто скажет, если он и сам не знал.

Нет, понимал, конечно, что и старость придет, и настанет время, когда меч покажется тяжелым, а щит неподъемным, только это там, вдали. После. Сначала – то самое, настоящее! Дотянуться бы до него, а потом и стариться можно, не страшно.

А теперь остались одни сны. Только в них он еще ратник, только там равный среди равных. Свой.

* * *

Откуда взялась эта полусотня половцев, никто не заметил. То ли подошли с подкреплением к своим, да опоздали, то ли оказались самыми хитрыми – в сторонке выжидали и надеялись присоединиться к общему дележу в случае удачи, а попав в западню, решили прорываться – неважно. Главное, что на их пути почти безоружные новики и обозники грузили на телеги взятую с боя добычу. Мягкая весенняя земля и молодая трава глушили удары копыт, так что занятые делом люди не сразу заметили несущихся на них вооруженных всадников.

Две сотни шагов – ничто для взявшей разгон конницы, для безоружных обозников же – верная смерть. Остановить ее можно лишь встречным ударом, вот только останавливать почти некому. Лишь неполный десяток Пантелея, прикрывавший обоз, мог хоть как-то помешать неминуемой резне.

– Десяток! Копья товь! Ур-р-ра!

Пантелей не упустил момент, и клин из семи ратников успел-таки разогнаться перед ударом.

Семеро против полусотни... Отчаянная атака без надежды на победу. Без надежды выжить. Но только они могли сейчас встать между смертью и толпой безоружных людей, задержать удар, дать время обозникам перевернуть телеги, соорудив хоть какую-то преграду коннице, и дожидаться подмоги.

Небольшой овражек с одной стороны и топкий по весне берег неведомой речушки с другой не давали возможности половцам развернуться в лаву. Кочевники не ждали встречного удара, готовясь рубить почти безоружных обозников, но много ли стоит меч в споре с копьем в скоротечной конной сшибке?

Половцы неслись вытянувшейся толпой, которую возглавляли полтора десятка всадников, удерживающих подобие плотного строя, кое-как прикрытых бронями и на конях порезвее. Вот в эту голову, в скулу и ударил десяток Пантелея, снеся копейным ударом лучших бойцов степняков.

– Руби! Руби-и-и!

Бросив копье, застрявшее в пробитом насквозь теле половца, Макар выхватил меч. И сразу рубанул налетевшего на него всадника, не успевшего развернуть коня. Слева, под шлем. Откуда-то сзади прилетели стрелы: видать, новики взялись за луки. Тоже верно, лезть в рубку без брони – сгинуть без пользы. С луками от них больше толку.

Еще два срубленных половца легли под копыта лошади Макара, когда что-то ударило его по ноге, сразу лишив устойчивости в седле.

«Эк оно, отсушило... – боль пока не чувствовалась, и Макар еще не понимал, что произошло. – Теперь тяжело придется».

Опершись на здоровую ногу, он успел вспороть брюхо еще одному наседавшему степняку, и только тогда, словно дав отсрочку ратнику, чтобы тот смог расплатиться за полученную рану, ударила боль. Вслед за ней накрыла непривычная, отупляющая слабость, и Макар почти не заметил удар булавы, выбивший его из седла.

* * *

– Веру-унь... Веруня... Водички... Горит все...

* * *

Обоз растянулся на полверсты. Лошадей не гнали, стараясь не растрясти раненых, которых набралось больше двух десятков. Большая часть, правда, отделалась ушибами и неглубокими порезами, потому и телег для тех, кому досталось серьезно, выделили сколь нужно, чтобы везти с бережением. Кто ранен не сильно, и сидя доедет, а вот тех, кого хорошо приложило, поудобнее надо устраивать. Но самый тяжкий груз – убитые в бою. Под рогожами одиннадцать тел – тех, кто отдал жизни за друзей своих, за род и все Ратное. И не важно, что вдали от родных мест погибли. Кроме десятка Пантелея, еще троих ратников потеряли в бою, да новик с двумя половцами сцепился в кустах – никто и не видел. Обоих положил и сам клинок в живот получил. Да еще обозник под половецкую саблю попал.

До дому их, конечно, не довезти, но и в одном поле с погаными хоронить своих тоже не годилось. По дороге у границ встретится заброшенное Перуново капище, до него еще почти два дня ходу – вот там и положат ратники своих товарищей по древнему воинскому обычаю на костер. Что бы ни твердил отец Михаил, а никому не хотелось лежать в чужой земле, вдали от родного дома, потому павших в походах ратников и погребали так, как исстари заведено, а не в землю закапывали. Глядишь, хоть дымком до своих лесов душа дотянется, хоть пепел, в реку пущенный, до родного берега ее донесет.

Не всех степняков положил десяток Пантелея, сколько-то по их телам все-таки прошло, но свое дело воины сделали: задержали врагов, пока не подспела помощь, и половцам стало не до обоза – ноги бы унести, так что свои жизни ратники отдали не зря. Правда, почитай, весь десяток рядом с Пантелеем poleg, кроме Макара, которого вез и обихаживал обозник Илья.

Да и Макар выживет ли? Илья, хоть и запрещал себе в таких случаях даже мысленно раньше смерти своих подопечных хоронить, каким бы безнадежным ни казалось их состояние, опасность понимал прекрасно. То, что боевой топор половца разрубил наколенник и вместе с ним колено, это еще ладно, хотя боль при этом такая – и словами описать невозможно, но все же рана выглядела чистой, и горячки, какая от ранений бывает, пока нет. Придет еще, куда ж без нее, не заноза, чай, в заднице застряла. Но чем дольше та горячка не начинается, тем легче и быстрее срастется.

А вот то, что он без памяти уже третьи сутки – плохо. Новики, кои жизнью Макару и его товарищам обязаны, говорили, что с тем половцем, что ногу ему разрубил, Макар поквитался, да второй подспел и булавой его достал. Бронь на себя удар приняла, ну и сам по себе он, видно, вышел смазанным – руку что-то половцу сбило или сам не рассчитал, потому и жив еще ратник, но ведь булава-то и через железо кости дробит. Что там она у парня в груди натворила, кто знает?

Бурей, обозный старшина, смотрел – только головой качал, да сказал, что к лекарке надо скорее. Хоть и натаскала его ведунья в лекарском деле, а все ж не его это стезя. Вот вывих вправить или кость ломаную поставить, как нужно, да скрепить лубками – это он мог, а вот с Макаровой бедой ему не справиться, нет, не справиться; он и сам это понимал, потому и торопил сотника. Бурей и так за раненых, что в обоз попадали, душу из всех вытрясал, а уж за Макара-то и подавно: не дело, чтобы ратник, спасший столько жизней, помер от его, Бурея, неумения да медлительности всего обоза.

Только не получается быстрее: весенняя земля вязкая, кони и так с трудом телеги тянули. Гнать станешь – быстро устанут, за день меньше пройти получится. Вот и думай тут. Голова одно твердит, а сердце другое.

* * *

– Веруня, родненькая, кваску мне... Холодного... Жарко... Верунь, ну что ж ты... Трясет-то как... Куда гонят... Потихе бы...

* * *

По прибрежным луговинам телеги катились мягко, почти не покачиваясь, словно по воде плыли. Бурей специально настоял на этом пути, хотя он и длиннее, и привалы неудобные – сухих мест мало. Зато телеги не кидало и пятеро раненых с рублеными да раздробленными костями мучились меньше. А шли бы лесом да по корневищам, что лесные дороги как жилами перетягивают, болью бы раненых убили. Кто ж такую пытку вынесет? Боль пуще любой работы выматывает.

Хоть порой и вязли колеса, и на руках вытягивать телеги приходилось, а никто из ратников и мысли против не имел. Кто в следующий раз на той телеге окажется, бог знает.

Подъехал Устин, сосед и почти ровесник Макара. Вместе начинали постигать воинское искусство, вместе в походы ходили, только в разных десятках. Теперь вот одного на телеге везут, а второй себя корит, что по нужде порты снял не вовремя, из-за того и в схватку самую малость не поспел. Он как раз в ту пору к обозу за каким-то делом подъехал и среди первых на подмогу Пантелееву десятку пришел – оттеснил половцев, чтобы Макара конями не затоптали, а все же опоздал.

– Слышь, Илюха, как он?

– Так сам видишь – бредит. Все Верку свою зовет да пить просит.

– Ну и дай! Тебе жалко, что ли? Или лень? Вот, возьми баклажку! Квас у меня тут.

– Да есть у меня, все есть! – отмахнулся Илья. – Ты не первый тут. И все корят. А ему не воды сейчас – покой ему нужен. Жар у него начинается, похоже. Ты б медовухи лучше привез.

– Тебе или ему? Ты, Илюха, не крути. Смотри, коли чего с Макаром... Ты меня знаешь!

– Да знаю, знаю! Ты бы не грозил зазря, а лучше бы и правда медовухи достал. Ему и впрямь не помешает. Да и мне тоже.

– Черт с тобой! Сейчас у наших поспрошаю. Найду!

И полверсты не прошло – Антип подъехал. И разговор тот же, и злость в глазах на себя и на половцев та же. И опять Илья словно оправдывался. И ни при чем тут обозник, а вроде как в чем-то виноват. И сам не знал, в чем, и ратники, что за друга душой болели, тоже не винили, а все одно вина на сердце.

За то, что может не довезти.

* * *

Веру-у-нь, Веру-у-ня... Где ты? Веруня, плывет все... Ногу не чую. И не вздохнуть. Неужто все? Не молчи, Верунь. Плохо мне.

* * *

Илья, как и все обозники, почитай, и не спал в походе. До сражения-то еще куда ни шло: и на ходу, бывало, дремал, и ночью, пусть не в оба глаза, но все же удавалось прикорнуть. А вот как раненые появлялись, так о сне забывать приходилось. Даром, что ли, обозников медведями порой дразнили?

Новики и молодые ратники, как из похода возвращались, так сразу по девкам, а обозники по печам да лавкам – отсыпать, что за время похода не добрали; оттого и глумились над ними иной раз неразумные. А разве обозники в походе продых видели? Только и следили, чтобы мелкая лесная тварь припас не испортила, да дождем его не замочило. И телега на обознике, и поклажа в ней немалая, потому как на коне не увезти все, что ратнику в походе потребно. Взять хотя бы стрелы лучные – сколько их за бой сгинет? Конечно, если все удачно, так соберут часть, но своя стрела, своими руками правленная, во сто крат ценнее. Да много чего еще ждало своего часа, в телеге или санях обозника схороненное. И все присмотра требовало.

Что уж о раненых говорить! Не железо, чай, и не харч, тут валом не накидаешь и лошадь в галоп непустишь. Сильно пораненных больше двоих в телегу и не укладывали, да и то тесно. Если возможность сыскивалась, так по одному старались устроить, тем более, когда путь до дома не близкий, как вот сейчас. И обиходить двоих сразу – та еще работа. И воды подать, и по нужде помочь. Ну, и накормить-напоить тоже.

Вот и сейчас у Ильи в телеге Макар лежал, да следом еще одна катилась. В ней Силантий, тоже едва живой, а возница там хоть и старателен, да молод еще, в первый раз его в поход взяли. Вот Бурей и поставил Илью старшим над обеими телегами – не только за раненых отвечать, но и новика обозному ремеслу учить. Потому Илье и доставалось за двоих. Проще бы самому все сделать, но с Буреем не поспоришь, да и молодого надо кому-то наставлять.

Утро для всех в походе тяжелое, а уж для обозников, которые при раненых состоят, и подавно. И почему душа с телом норовит расстаться именно на рассвете? Никто не знает. Так уж в этом мире все устроено, что именно перед рассветом у смерти самая работа. Того прибрать, этому колокольчиком звякнуть – о бренности жизни напомнить, третьего на заметку взять. Вот тут обозному самые хлопоты. Много ли порубленному да обескровленному человеку надобно, чтобы с жизнью расстаться? Не подоткнул тулупчик – и выдула утренняя свежесть из раненого душу, или в жару не обтер вовремя; а то разметался в бреду, или просто сено в ком сбилось. Вроде и мелочи, а жизни могут стоять. Вот и не спали обозники, на своем месте службу несли.

* * *

Очнувшись, Макар не сразу понял, что случилось и где он, но постепенно вместе с ощущениями, медленно, словно нехотя, выдергивая его из небытия, стало появляться и осознание происходящего.

Странное чувство – вроде как и не лежишь, а висишь... Своего веса совсем не ощущаешь, только ногу тянет вниз, словно из телеги кто вытащить хочет, а тела будто и нет вовсе. Как младенец спеленутый – не шевельнуться.

И хочется, ну просто нестерпимо хочется подвигать руками, передернуть плечами, себя самого почувствовать. Макар попытался было, но в голове тренькнул колокольчик: «Лежи!»

Ратник замер. Ногу кольнула боль. Как ножом ткнули – даже дернулся от неожиданности, и боли сразу прибавилось. Нет, лучше уж бревном неподвижным лежать, остальное перетерпится.

– Эк, тебя! Ну что ж спокойно-то не лежится? Привязать бы тебя, дружок, – забормотал рядом чей-то знакомый голос, – да не за что. За уд разве? Дык, Верка привидится, – говорящий хмыкнул, – еще больше завертишься. Вот кашевары закончат телиться, напою, накормлю и тронемся к твоей Верке. Щас, погодь... – и уже куда-то в сторону, во весь голос, – Петруха! Ну, ты чо? Кабана целиком варишь, что ли? Когда готово-то?

– Отстань, Илюха! Выварится, позову...

«Илюха! – все разом встало на места, и вместе с осознанием пришел страх. – Точно, он!»

Стало быть, ранен. И тяжело. К Илье в телегу только такие и попадали.

– Илья. Илюха, – позвал Макар, но обозник возился где-то рядом с телегой, не обращая внимания на голос раненого. – Илюха, скотина ты безрогая! Оглох, что ли? – надрывался Макар, но тот продолжал свои дела.

Обида взяла: ну что за народ эти обозники? Скоты толстокожие! Зовешь, зовешь их... Ну что ж теперь, обгадиться?

– Илюха, гад ползучий! – заорал Макар из последних сил и вдруг почувствовал, как у него едва-едва шевельнулись губы. Понял, что свой крик до сих пор ему только чудился, и удивился: неужто так ослаб?

Возня у телеги враз затихла, и у самой головы голубем заворковал Илья:

– Очухался! От хорошо, от молодец! Теперь живее пойдет, не шевелись только... – обозник и впрямь радовался: еще бы, он и не чаял, что Макар вообще в себя придет. – Не шевелись, говорю! Али нужда припела? Ты это, расслабься, оно само все... У меня в телеге на такое дело все устроено, не изгваздаешься. Не жмись, говорю, хрен перевернутый! – вдруг заорал он на самое ухо раненому.

Макар от неожиданности дернулся, что-то внутри сжалось и. Даже ноге, как ни странно полегчало, хотя какое она-то имела ко всему этому отношение?

– Вот так-то лучше! А то жметесь он... Ну, прям девка, что на сеновал впервой попала, – увещевал Илья, вытягивая из-под Макара пласт сена и укладывая на его место новый. – Знаю я вашего брата, до последнего терпите, а мне потом Настена, того и гляди, последние волосы выдерет, если Бурей раньше не прибудет. А они, вишь, гордые! Сейчас поедем... – он вдруг резко повернул разговор, и голос снова стал подозрительно ласковым. – Глянь, Петро харч несет! И как он ту свинятину варит, бог знает, но вку-усно!

Макар и впрямь захотел глянуть и... Темно... Только теперь он сообразил, что все это время говорил и слушал Илью, не открывая глаз. Попробовал открыть. Нет, все равно темно. Подвигал глазами: чуть режет – и все. Тогда почему?

Он замер. Не хотелось даже думать об... Нет, не может быть! Еще раз... Все равно нет просвета! Что-то скрутило и охолодило тело. Нет, это уже не страх и не ужас – это конец! Конец всему, конец жизни. Кому нужен слепой? Пусть и молодой, и здоровый, но слепой...

Лежать стало нестерпимо – даже взвыть сил нет, тут впору если не биться в отчаянии, как баба, так хоть кулаком садануть по чему-нибудь со всей силы. Всю оставшуюся жизнь плести на ощупь корзины да силки мальчишкам?! Себя порешить не дадут, а без помощи и веревки не сыщешь! Сразу все ушло куда-то в сторону, все стало пустым и чужим. Этот мир больше не для него. Боль в ноге, ранее невыносимая, вдруг стала тоже безразлична: болит – и хрен с ней, пусть болит; что та боль по сравнению с беспросветной жутью, что оглушила его сильнее, чем булава половца!

– Э-э, ты чего это? – ложка стукнула о горшок, а Илья заговорил где-то совсем рядом. – Чего молчишь?

Макару было сейчас не до него и уж тем более не до еды, его охватывало не то бешенство, не то страх. Хотелось кричать и выть, да сил не хватало.

– Тьфу ты, хрен перевернутый! – вдруг досадливо выругался обозник. – Это ж надо, из головы вон! И как забыл?

На глаза Макара плеснула холодная вода, заставив его вздрогнуть, и тут же мокрая тряпка заелозила по векам.

– Щас, погоди, смою... – голос Ильи звучал смущенно, даже заискивающе. – Слиплось! Да и немудрено, за столько дней. Ну, все уже, дай-ка чистым вытру.

Вот теперь глаза раскрылись сами. До чего ж хорошо! Макар хоть и прижмурился сразу – слишком уж ярко, но как же хорошо! Даже боль в ноге стала немного терпимей.

– Ты, это... Того... – мялся Илья, – Бурею не сказывай, а? Прибьет ведь.

Макар только согласно мигнул – сил не оставалось даже на шепот, но обознику хватило и этого.

– Вот, – заторопился он, – сейчас поедим и в дорогу. А то, слышь, уже вторые дозоры к котлу сменились, а мы с тобой все чего-то возимся! Чуешь, какая поросятинка у Петра упрела? С лучком, с травками... – голос у Ильи опять стал ласковым и, как ни странно, от этого еще убедительней.

Макар слегка улыбнулся пришедшему на ум сравнению: так его Веруня уговаривала Любавушку, когда та зимой болела, каши отведать. Но есть не хотелось. Пить – да, сейчас он был готов выхлебать хоть ведро, а вот есть – нет.

– На-кося вот, кваску чуть сглотни, оно потом легче пойдет, – Илья кудахтал, как наседка. – А поесть надо. Крови ты чуть не ведро потерял, сейчас ее опять копить надобно. Тут уж лучше мяса и нет ничего! А уж свинятинка-то! – войдя в раж, Илья даже причмокнул.

После нескольких глотков кваса и впрямь пошло легче: мелко порубленное, вываренное и хорошо размятое мясо само проваливалось в горло. С завтраком управились, едва успев к выходу. Сам Илья жевал уже на ходу.

От обозника, приставленного к раненым, в пути требовался не только воз терпения, но и разнообразные умения. И не последним среди них был дар складно врать, да так, что любой сказитель-гусяр позавидует. Сумел возница своего подопечного разговорить да байкой попотчевать, отвлечь от страданий, глядишь, и дорога короче становилась. Кто-кто, а уж Илья языком был горазд махать – ну, чисто воробей крыльями, особенно когда в ударе. Бывало, со всех сторон к его телеге съезжались – послушать. Болящему-то лучше вместе со всеми похохотать, нежели одному со своей бедой на сене корчиться.

Однако к полуденному привалу Макару уже ни до чего дела не стало. Глаза застилало серебристое мерцание, дышать трудно, а ногу словно в костер сунули. Как ни старался Илья, а все-таки растрясло здорово.

Тот же Петруха принес горшок с варевом. Как уж он умудрился его сготовить, неведомо, но и эта стряпня в горло не полезла. Вперемежку с квасом и уговорами впихнул в себя десяток ложек – и все. Начинался жар. Он и так сильно припозднился, но все же догнал.

Илья только головой покачал и, оставив рядом с Макаром Петра, отправился к обозному старшине. Будь они в Ратном, ни за какие коврижки не сунулся бы лишний раз к нему: уж больно лютым зверем слыл их старшина, крещенный Серафимом, но которого иначе как Буреем никто не звал. Но то в Ратном. В походе- то обозники другого Бурея знали: и рычал он так же, и ребра намять мог, и жалости особо не выказывал, но когда на телегах появлялись раненные, этот горбун другим человеком оборачивался. Исчезала из него звероватость, словно в другую жизнь окунался.

Дома тому же ратнику голову свернул бы при случае и не поморщился, а тут лучшего опекуна и няньки заботливей не сыскать. Без причитаний и уговоров, случалось, и с кулаком, и бранью, но так, что это на пользу шло. И с обозников за недосмотр три шкуры спускал.

Ох, как не хотелось лишний раз такому старшине под руку попадаться, но ничего не поделаешь, идти надо: Илья хоть и знал, и умел немало, а лекарскими секретами почти не

владел – самого-то Бурей ратнинская лекарка Настена еще мальцом учить начала, и то всего не передала. А Макар вон – до ночевки еще полдня, а он уже едва живой.

Обозный старшина выслушал Илью на диво спокойно, выпросил, что да как, и, порывшись в своей телеге, пошагал вдоль обоза.

Возился он с Макаром долго, что-то щупал, слушал, припав к груди, ворчал, вернее, рычал, но чем дальше, тем добрее – как старый дед ворчит на любимых внуков.

– Илюха! – рыкнул вдруг старшина, совсем не ласково. – Ремни неси! В моей телеге лежат! Потом мне поможешь... – и снова занялся Макаром.

Чего уж Бурей в ковше намешал, только он и знал, но вливал свое пойло в раненого почти силой.

– Лубки менять надо. Больно только поначалу будет, немного, а потом до утра уснешь... – бурчал старшина, ослабляя завязки на трех плахах, державших ногу Макара. – На-ко вот, разинь пасть пошире, а то или язык откусишь, или зубы крошишь. Разинь, кому сказано! – и в рот раненого, широко растянув его, вошла свернутая кожаная рукавица.

Велика ли сложность – снять лубковую повязку, отложить плашки в сторону, промыть вокруг раны, да на самой ране повязку сменить, затем ногу, как надо, поставить, чистую льняную повязку наложить да заново упрятать ногу в деревянные плашки? А Илья словно телегу все это время вместо коня таскал – устал до невозможности. Да и Бурей эта работа, видать, легкой не казалась, даром, что ли, на лбу пот выступил?

Макара Бурей не обманул – ткнул двумя пальцами куда-то в бедро, боль ударила кувалдой и ушла. Ноги словно не стало: вроде и делают с ней что-то, а кажется, что не с его ногой обозный старшина возится. Ну, а рукавица во рту зубы с языком спасла. Когда его отвязали, начал было Макар ее изо рта тянуть, а она никак – челюсти кожу закусил, как цепной кобель кость сахарную, и не разжимались никак. Уж и старшина обозный гоготал, и ратники, что рядом стояли – тоже, да еще и со стороны на веселье подошли.

– Чего ржете-то?

– Сам погляди – совсем Илюха Макара голодом заморил! Пока Бурей ему ногу пользовал, он его рукавицей закусить решил!

Макару и самому стало смешно. Лежал, носом фыркал, но челюстей разжать никак не мог. А ратникам только подавай – веселятся, словно скоморохи приехали.

– О-о! Глянь! Головой, как кобель мотает! И рычит! Оголодал... Илюха, стервец, ты б ему, что ль, рукавицу помельче покромсал, али лень?

– С солью Макар, с солью! Вкуснее будет!

Илья уже хотел и свое слово в общее веселье вставить, да не успел. Вернее, поучаствовать-то ему довелось и развеселить всех еще сильнее – тоже, да немного не так, как рассчитывал: шапка его упала на землю там, где он только что стоял, а сам Илья, взмахнув руками для плавности полета, рухнул в перемешанную копытами и колесами грязь в нескольких шагах от телеги. Еще через мгновение он уже болтался в воздухе. Обозный старшина, только что казавшийся чуть не пляшущим медведем, снова превратился в зверя.

– Ослеп? У него же лубки ослабли – кость по кости елозила! – Бурей тряс Илью, ухватив в руку одним хватом и рубаху, и клочок волос с бородой. – Сколько раз тебе говорить, чтобы следил? – Старшина вдруг перестал трясти обозника и принюхался. – Хмельным балуешься? Опять? Я те что говорил? Ну?

– Так, это... Что три раза повторять не будешь. Еще раз напьюсь в походе, прибудешь. – поспешно доложил Илья, зная, что на такие вопросы отвечать надо не мешкая – зубы целее будут. Ну как старшина не понимает – не железный же он! Ладно, усталость да хлопоты, но смерть Силантия минувшей ночью он, хоть и без вины, а на свою душу принял. Как представил глаза его жены, с которой ему дома придется говорить, так рука сама к фляге и потянулась.

– Угу. Этот – второй, – назидательно сообщил Бурей и, враз успокоившись, буркнул: – Медовухи тащи. – и шепотом. – К нему скоро боль вернется, напои до того, Настенино снадобье не сразу подействует.

– Так нет у меня.

– Значит, у меня возьми! И смотри мне! – рявкнул старшина, а потом добавил совсем тихо и на ухо, чтоб только Илья слышал: – Отвоевался Макар. Но ему и не заикайся, а то не довезем. Пусть уже Настена сама – дома.

* * *

Макар покрутил головой, отгоняя воспоминания о той дороге – хоть и трудно ему тогда пришлось, но все равно легче, чем сейчас. Потому как надежда жила, и он и мысли не допускал, что ВСЕ...

Нет, сегодня нужно выпить, иначе и впрямь с ума сойти можно. Когда Илюха в дороге медовухи наливал, боль хоть немного, но отпускала. Глядишь, и сейчас душе полегчает, если забыться. Да и ногу он здорово дернул – болела, зараза, не утихала. И в груди тоже давило сильнее обычного: булава половецкая не прошла даром.

Макар раньше никогда до хмельного охоч не был, всегда меру понимал, но где та мера, чтобы безмерную тоску унять?

Первая кружка пошла тяжело – это у завязитого пьяницы любая чарка, словно птичка, влетает, а коли телу непотребно, то порой и силой вливать приходится. Вот силком и впихнул, и тут же налил вторую. Брага – не медовуха, забирает медленно: только после третьей в голове поднялся небольшой туман, а лампадка в углу слегка зарыбила. Дальше уже пошло легче, он и счет потерял.

Вдруг из мутного тумана, что убаюкивал и давил тяжкие мысли, облегчая непереносимую тоску, появилось лицо Верки, разом напомнив все, что с таким трудом удалось если не забыть, то хоть отодвинуть, не думать. Дура! И чего бабе надо? Ей же спокойней, если он на день другой в бездну провалится, так нет – мельтешит, чего-то говорит, не дает забыться.

– ...Оставь ты ее, Макарушка! Ну, не доведет она до добра! Ты не думай, мы для тебя все сделаем! Ни в чем недостатка знать не будешь! Мы ж понимаем. Мы ж. – заливаясь слезами, причитала перед мужем Верка.

На Макара, накрывая, словно зимняя снежная туча, стала напозать черная липкая злость. На дуру-жену, на себя, на половец, на жизнь – на все сразу! Не хватало сил сопротивляться, и терпеть уже не мог – само выплеснулось, да так, что Верка отшатнулась, встретившись с его взглядом – тяжелым и чужим.

– Понимаешь?! Сделаешь, значит... За калеку меня посчитала? Меня?! Что ты понимаешь! С-сука! – и не понял, как рука взлетела в коротком точном ударе, а Верка неожиданно для него самого покатилась по полу. Следом полетела кружка.

Макар рванулся из-за стола, пытаясь хоть на ком-то выместить захлестнувшую его злобу то ли на жену, то ли на незадавшуюся жизнь, но пол избы словно ожил, вздыбился из-под ног, да со всего маха предательски саданул его по морде.

Остаток ночи Макар помнил плохо.

Утром тяжелое мутное похмелье принесло с собой раскаяние. На Верку, молча закрывающую платком синечерный заплывший синяк, он глядеть не мог, но от этого только сильнее злился на нее же. Чтобы заглушить уже это раскаяние и злость, снова потянулся к браге. А ночью все повторилось, затем опять, и Макару уже и не хотелось останавливаться, да и каяться – тоже.

Ну и пусть! Долго так не живут, да и не надо. Все равно жизни больше нет, а так хоть на немного, хоть во сне, но он опять ратником побудет.

* * *

Макар не первый и не последний встретился с этой бедой и едва в ней не сгинул. Смерть в самом жестоком бою воину не так страшна, как то, что его лишили возможности ее принять. Смерть отступила, но и жизни не стало.

И через десятки, и через сотни лет жены отставных воинов станут битья, как об стену: чего ему ТУТ не хватает? Многие, что уж скрывать, поначалу радуются, порой и сами уговаривают мужа уйти со службы – кончится маета и бессонные ночи, заживем, как все. Ну что там хорошего-то? А его, словно наркома, на, ломает, и все не в радость – не может он уже КАК ВСЕ! И не важно, что стало причиной отставки – ранение, собственное решение, стечение жизненных обстоятельств или еще что – все равно нестерпимо тянет назад, в бой. К жизни, где хочешь или нет, а надо быть мужчиной, где не спрячешься за бумажку, за статью закона, потому что на войне законы свои – вечные законы для мужчин не по названию, а по духу.

Для большинства гражданских они все просто сумасшедшие, ведь только ненормальный может по доброй воле идти навстречу смерти, чтобы играть с ней по ее правилам. Чтобы вкалывать так, как не вкалывают и рабы на плантациях, под мат командиров и свой собственный, чтобы гробиться в песках при невыносимой жаре или в леденящем холоде, бегать по горам, чуть не выплевывая собственные легкие, жить и побеждать на пределе человеческих возможностей, а то и когда, согласно всем выкладкам физиологов, эти возможности кончаются. При этом ежедневно и ежечасно понимают, что каждый шаг может стать последним, что быстрая смерть – еще не самый худший исход, так как видели они и гибель товарищей, и изуродованные тела тех, кто попал в руки противника живыми.

И от всего этого быть счастливыми?

ДА! И это уже ничем не излечимо. И ничто не в состоянии заменить им тот Первый Бой, в котором пришла победа. Для этого действительно надо сойти с ума. Или беззаветно отдаться чувству долга, когда все, ВСЕ, включая собственную жизнь, неважно по сравнению с пониманием, что именно на твоих плечах и за твоей спиной ДЕРЖАВА. И осознанием, что именно ты первым шагнешь навстречу любой опасности, заслонишь своей жизнью от этой беды остальных, потому что ты – ЛУЧШИЙ. И ты можешь делать то, что не могут другие, ты необходим! Ты нужен не просто кому-то, не только своей семье и близким – стране. И эта страна, как стена у тебя за спиной, и она примет и защитит тебя так же, как ты сейчас защищаешь ее.

Но если эта стена вдруг рухнет, тогда не остается своих, кроме тех, чье плечо ты чувствуешь в бою, и когда уже нет ДЕРЖАВЫ, а есть только обида – не НА нее, а ЗА нее. Но и тогда воинов может остановить только смерть, и они воюют. За что? За свою честь, за святое воинское братство. За Родину. Даже если Государству уже нет веры.

Глава 2

Верка

Верка устало опустилась на скамью в самом дальнем углу от лавки, на которой пьяно храпел Макар, и прикрыла глаза – сил нет! Совсем... И куда делись? Ведь недавно по дому от утренней зари летала, в поле с песнями шла и до темноты все успевала переделать, не присев ни разу, что такое усталость – и не знала. А тут сразу из резвой молодухи немощной старухой стала. И нет желания не то что вставать, даже глаза разлеплять: так бы и сидела, наверное, кабы можно было. Бесцельно и бездумно, погружаясь в тягучую, как овсяный кисель, полудрему...

Встряхнула головой, обругав себя за внезапную слабость, и решительно поднялась на ноги. О чем она думает, дурища? Не время сейчас раскисать, иначе точно ни Макару не поможет, ни себе.

Вышла в сени и чуть не споткнулась о корчагу с брагой. Ее пару дней назад приволок Сивуха, не постеснялся, поганец, содрать полкуны за эту отраву. А муж... да что он тогда соображал, коли вторую седмицу ежедневно напивался! Деверей дома не оказалось, а на нее он только рыкнул, когда попробовала вмешаться.

Мелькнула мысль выплеснуть брагу в выгребную яму— все беды от нее, но мало ли браги в Ратном? Исхитриться бы, чтоб она Макару в руки не шла, пока не придумается, чем его отвлечь, да как? Разве самой всю выпить... Верка горько усмехнулась своим мыслям.

Кроме как у Доньки Пустехи, которая сама давно без души ходила, да у Семки Сивухи, что за спину своего родича прятался, неоткуда взять Макару браги. У кого есть, те разве что одну чарку гостю поднесли бы, да и то не всякому: в селе чужую беду понимали – Макар такой не первый. Из ратников никто лишнего не налил бы – остальные могли и ребра запросто намять. А вслед за ними и обозные остерегались. Вот с браги-то и надо начинать!

Ну да, легко сказать, а как? Доньку припугнуть недолго, а вот Сивуха совесть вовсе потерял, знал, паршивец, что за него родичи – Степан и Пимен – всегда вступятся. Потому и сотник со старостой ничего с ним сделать не могли, хоть и не одобряли его промысла.

Еще раз оглядев Макара, так и не проснувшегося со вчерашнего, Верка подхватила коромысло и вышла из дому. Для того, что она задумала, время было самое подходящее: у колодца собрался почти весь цвет бабьего общества. Здесь же – ну куда ж от нее денешься – топталась и вечная соперница, Варька, жена Фаддея Чумы.

Заприметив Верку еще издали, Чумиха приосанилась, намереваясь насладиться хорошей перепалкой, но жена Макара на этот раз не обратила на ее приготовления никакого внимания, а подошла к бабам и, дождавшись, когда гомон на миг умолк, сказала, обращаясь ко всем разом:

– Не могу больше! Как хотите, бабоньки, но нет уже моего терпения!

– Верка, ты чего? – Варвара от удивления даже забыла приготовленную заранее подковерку и встревожилась. – Чего случилось-то?

– А то ты не знаешь! Раньше в Ратном про такое и не слыхали, а сейчас у нас Семка Сивуха людей спаивает, и никто ему слова поперек не скажет! Кому ж охота против себя его родичей настраивать? Пимен-то со Степаном за него горой стоят – небось он своими прибытками с ними делится, – махнула рукой Верка. – Сколько народу дельного он до скотства довел? Пентюх с Донькой сами, что ли, в позорище превратились? А теперь за моего Макара взялся? Не отдам! Он мне мужем нужен, а не скотиной! Что хотите, бабоньки, думайте, нет больше сил терпеть. Не знаю, как вы, а я уже на все готова! Ей-богу, вот щас пойду и башку ему проломлю! А не поймаю – хоть душу отведу!

– Ты чего несешь? – неожиданно раздался визгливый голос Семеновы жены Феклы. Верка поначалу ее и не заметила – за спинами она хоронилась, что ли? Да не одна – рядом

с ней сбились в кучку бабы и девки из родни Сивухи, даже жены Пимена и Степана стояли неподалеку, легки на помине. – Голову она проломит! Ишь, чего удумала! Поди, попробуй – виру заплатишь такую, что в закупы всей семьей пойдете! Али мой Семен кому силком в горло наливает? Сами к нему идут да в ноги кланяются! И неча! У меня муж правильный, и хозяин справный, все в дом несет, не то что некоторые!

– Мой муж ратник! – задохнулась от возмущения Верка, рванулась к обидчице, и непременно быть бы Сивухиной родне с драными косами – жены ратников, коли дело до драки доходило, кулаками иной раз махали не хуже мужей, – но Пименова жена Евлампия дернула за рукав свою разошедшуюся родственницу и встряла между ней и Веркой.

– Ты, Фекла, уймись, – пропела она приторно-медовым голосом. – Сама знаешь, какое у Веры горе, имей снисхождение, – и обернулась к остальным недовольно загудевшим бабам. – Не сердчайте на Феклу: это она не подумавши сказала. Мы лучше к другому колодцу пойдём, не будем вам здесь мешать. Чего нам с вами делить? И наши мужья в сотне, сами знаете. Вот сейчас Макара привезли раненого, ну так все мы под Богом ходим, все за мужей да сыновей тревожимся.

Она немного подождала, обвела взглядом вроде бы отмякших баб и неожиданно заговорила совсем о другом:

– Нешто никому из нас по-людски жить не хочется? Сколько мы слезами умываться должны? Много ли нам мужья из походов привозят? А коли изувечат кого, никакой добычей этого не окупить, и в обозники пойти за великую радость покажется. Хорошо тем, у кого не только ратное дело, но и ремесло доходное в руках! Так ведь еще как ранят – а то и не работник потом... А ведь ежели разбираться, так еще хорошенько подумать надо, кто кому нужнее – сотня для нас или мы для сотни?

– Ты про что? – растерялась Верка, совсем не ожидавшая такой поддержки от Пименовой жены.

– Ты говори, да не заговаривайся! – Варька – вот диво! – только что грудью Верку от Пименихи не закрыла. – Кабы не сотня – нас бы тут и в живых никого не осталось! Давно бы вырезали. Наши мужья – стена нам.

– Стена-то они, конечно, стена! – Евлампия вздохнула. – Ну, а мы – печь. А в доме-то завсегда печь главнее! Я же и сама ратника жена, но коли так рассудить, другие- то ведь живут как-то без войны, и не вырезали их? Вон я в Давид-Городок с мужем в прошлом году ездила – без рати там живут и не тужат. Дружина наемная есть – и хватает им, а все прочие ремеслом и торговлей занимаются и над мужьями не рыдают. – Она еще раз вздохнула, усмехнулась – Верке показалось, что прямо ей в лицо, – и распрощалась с примолкшими женщинами: – Ладно, пошли мы, бабоньки.

– А что? Правду она говорит. – вдруг подала голос Елизавета, по прозвищу Полуха, жена увечного ратника Филата. Бабы удивленно воззрились на нее. В разговор она вступала редко, да и у колодца обычно не задерживалась, а тут стояла с полными ведрами, слушала, и глаза ее впервые за много лет загорелись, только недобро как-то. – Чтоб она провалилась, эта их рать! Был бы мой Филат хоть кузнецом, хоть гончаром в том Давид-городке, так... – и словно устыдившись собственной горячности, Полуха вдруг оборвала себя на полуслове, махнула рукой и пошла прочь, привычно ссутулившись и тяжело загребая ногами.

Верка зажмурилась, помотала головой. Не помогло. Растерянно оглянулась на подруг, но и те, судя по лицам, тоже не знали, что сказать, а Евлампии надо было ответить. Точнее, не ей ответить, а себя убедить. Ведь чувствовала: врала, все врала Пименова жена! Хоть и складно, зараза, говорила, но не могло быть по ее и все тут! Только бабы после ее слов совсем сникли, а Полуха их и вовсе добила: ее судьбу на себя, похоже, примерили; некоторые молодухи, поди, впервые ТАК посмотрели. Верка и сама невольно задумалась, но душа слов Пименихи, хоть ты тресни, никак не принимала. Брешет же! Или не брешет? Ведь и впрямь, что в Давид-городке,

что на Княжьем погосте жили не так, как в Ратном, и неплохо жили, богато; кто посмышленнее, в купцы выбивался. Выходит, Евлампия и в самом деле хотела как лучше? Вот только для кого лучше-то? И что станется с ратниками, ежели, не приведет Господь, в селе начнут верховодить те, кому свой достаток роднее не только сотни, но и отца с матерью, вроде того же Пимена или Степана-мельника? Свят-свят-свят... Сивуха-то у них из-за спины на всех плюет, кого угодно готов спойть ради прибыли.

* * *

Слова Евлампии заронили тревогу и сомнение не только в душе у Верки – многие, даже не принявшие их, призадумались, ибо ударили они баб по самому больному – по застарелому страху жен воинов за своих мужей, за подрастающих сыновей. Не каждая и не сразу могла отринуть этот страх, сковывающий рассудок, и заставить себя думать, ибо Евлампия сказала им неправду.

Точнее, полуправду, что иной раз страшнее и отвратительнее откровенной лжи: не помянула, что в том же Давид-городке не все сытно жили, далеко не все! А вот подати князю все платили. В Ратном те, кто ремеслом и торговлишкой пробивался, потому и богатели, что благодаря сотне от тех податей освобождены. Самого же главного Пимениха упоминать не стала: если начнет ломаться уклад, переиначивая жизнь по-новому, кто-то на этой волне и поднимется, а кого-то она и с головой накроет, тем более, в таком случае не самые лучшие наверху окажутся и сливки снимут, но самые ушлые. Большинство же за то будет только расплачиваться.

И еще одна причина промолчать имелась у Пименихи, совсем уж мерзкая. Тем, кто нахваливал выгоды мирного уклада, выгодно было, чтобы вой спился: одним воином, а значит, одним голосом на сходе меньше. Проще выгодные для себя решения проталкивать. Ну, и его семью в долги загнать намного легче.

Так далеко бабы заглядывать не могли. И рассудить так не все умели – у баб чувства разум пересиливают. И Верка не сумела, но где правда, а где нет, именно что чувствовала. То ли упрямство ее помогло, то ли любовь к мужу. На кой ляд ей, дочери ратника, купец или ремесленник – она за воина выходила! И жить дальше хотела с воином, пусть и увечным, но не сломленным!

Но для этого надо было, чтобы Макар сам от Сивухино поила отказался! Его ведь не столько раны мучили, сколько будущая жизнь страшила, вот и прятался он от нее в пьяный дурман.

* * *

Верка шла домой еще больше замороченная – мало ей было беды с Макаром, так еще Евлампия камней в душу накидала! – оттого по сторонам почти не смотрела и едва не налетела на отца Михаила в своих же воротах. В последний момент остановилась, а то бы сшибла хлипкого священника. Охнула и перекрестилась с перепугу, и только после этого поклонилась и поцеловала руку в ответ на благословение.

– Здрав будь, отче. К Макару? – она с сомнением посмотрела в сторону крыльца. – Так спит он еще, поди. Хотя, может, и проснулся, пока я за водой ходила.

Отец Михаил горестно поджал губы и, сочувственно покивав ей, прошел в дом.

Верка, чтобы не мешать разговору священника с мужем, нашла себе какое-то дело в сенях, настороженно прислушиваясь к доносившемуся из горницы журчанию голоса попа, чтобы не пропустить момент, когда тот соберется уходить: знала, что тогда надо побережься – Макар-то на ней злость сорвет.

И не просила о помощи, но отец Михаил сам зачастил к ним после того, как на исповеди она пожаловалась на свою беду, потому что держать в себе уже не могла. С тех пор навещался через день – с добром, конечно, помочь хотел, но почему-то с той помощи становилось только хуже: Макар вроде с отцом Михаилом и не спорил, молча слушал, но потом кидался на всех, кто под руку попадался – будто с цепи срывался.

Верка и раньше знала, что ратники, даже те, кто считался твердыми христианами, отца Михаила при всей его учености не то чтобы не уважали, а... не принимали за смысленного мужа, что ли? Нет, и на службу по воскресениям, и на исповедь к нему исправно ходили, и даже признавали, что отец Михаил лучше прежнего попа. Разумнее-то уж точно. И детишек он учить взялся, и добрый вроде, и проповеди у него всегда такие душевные – заслушаешься. Некоторые бабы на своих мужей даже обижались, когда те что-нибудь пренебрежительное про него говорили.

Она и сама раньше понять не могла, чем им отец Михаил не угодил, и только когда стала прислушиваться, к чему он Макара подталкивал, то с досады чуть в голос при нем не выругалась! По его выходило, даже и хорошо, что так случилось и то, что Макару ратником больше не бывать – правильно. Сегодня вот и вовсе, как та Пимениха, занудил, словно сговорился с ней: без рати жить и лучше, и достойнее и надо, дескать, Макару радоваться и Бога благодарить, что его от греха смертоубийства отвел, наставил на путь истинный. К праведной жизни обратиться, молиться и каяться за жизни загубленные, тогда и полегчает ему.

Верка от такого, как от зубной боли, скривилась. Умный-то поп, он умный, но как же таких простых вещей не понимает? Ей, бабе, и то слышать нестерпимо! Получается, тати и прочие вороги, включая половцев – невинные жертвы, а ратники – злодеи? И чтобы праведно жить, воинам надо от своей воинской стези, от своей гордости мужеской отказаться? Да как же сам отец Михаил их на подвиги воинские против язычников благословляет, но при этом почитает грешными душегубами? Это еще Макар молчал, кто другой в ухо заехал бы. Но с другой стороны, святой отец вроде как выход хоть какой-то предлагал: забыть старое, новую жизнь принять, сама же Верка только жалеть мужа могла, а как его утешить, какие слова найти – и не знала.

Зато почувствовала, что у нее от непривычных рассуждений, которыми обычно бабам обременять себя не приходится, аж голова кругом пошла, плюнула с досады и отправилась во двор – там, небось, тоже дел полно. А то доведет поп до греха – сама чем-нибудь приложит...

Только подумала, как в доме что-то загремело, словно посуда со стола посыпалась, раздалась ругань Макара, и отец Михаил с достоинством, но поспешно, вышел из сеней. Перекрестился и печально вздохнул:

– Прости ему, Господи, ибо не ведает, что творит, раб Божий...

Верка, только что сама готовая вцепиться ему в бороду, бессильно опустила руки – столько искреннего сочувствия и душевной боли чувствовалось в голосе святого отца. Но все-таки, когда прощалась, прятала глаза от греха, чтобы какую-нибудь дерзость не ляпнуть – священник как-то никак, потом изведет разговорами душеспасительными да наставлениями. Это он к мужам не очень-то со своими поучениями совался, те и послать могли – далеко и лесом, а бабе и тут приходилось голову нагибать, кланяться, да молчать, благо, дело привычное.

Хорошо, в ворота уже входил Игнат Кочка. Вот молодому ратнику Верка обрадовалась, как родному: его единственного, пожалуй, муж всегда ждал.

* * *

– Дядька Филимон!

Верка всю дорогу крепилась, чтобы не разнуниться: шла-то сюда не за утешением, а за советом, так что не дело выть, да и не любят мужи бабьих соплей – но все-таки не выдержала. Редко с ней такое случалось, а тут.

И речь начала вроде спокойно – но что за наказание! – едва выговорила имя старого воина, как само собой всхлипнулось. И не заметила, как заголосила, а вместо обстоятельного разговора выплеснулось из нее на дядьку Филимона все сразу – и не по делу, как надо бы, а вперемешку.

– Что делать-то? Что делать? Макарушка мой вусмерть спива-ается! Все на брагу пусти-и-ил! Хозяйство валится, дочка его как чужого бои-и-ится! Снохи мне глаза колю- у-ут. Меня до сих пор за столько лет только раз приложил – и то за дело, а тут, как проспится, так в морду.

Хоть из дома беги! За что такое? Я ж его, душеньку мою, обиходить стараюсь, из кожи лезу! Ни разу ему поперек слова не сказала! – Верка наконец справилась с собой, перестала всхлипывать и уже не со слезами, а чуть ли не со злостью устало выдохнула. – Ты меня знаешь, дядька Филимон, вот те крест – ни единого слова поперек ему не сказала! Понимаю же... Норов свой в узел завязала и терплю! Зубы крошатся иной раз – а терплю! Мы ли его не жалеем? Я ж.

Клюка грохнулась об пол, и в доме словно все вымерло, даже собаки во дворе заткнулись. Филимон только что спокойно сидел на скамье, вполуха слушая бабьи причитания, и вдруг у него лицо пошло пятнами, казалось, борода налилась краской.

– Ты кого, баба, жалеешь? Ратника израненного?

Старик встал и, не подняв клюки, с трудом шагнул к Верке.

– Его беду ему же в укор ставишь?

– Как в укор? – Верка растерянно захлопала глазами. – Да я ж.

– Ты ТЕРПИШЬ! – рявкнул Филимон. – Его терпишь! Значит, укоряешь? Так?!

– Так люблю я его, потому и терплю! – Верка хоть и подалась назад, но отступать не подумала, напротив, возмущенно вскинулась ему в ответ. – Да как ты не понимаешь? – но тут же выдохнула и сокрушенно склонила голову. – Пусть по-твоему. Да! Терплю! Иной раз и виню. Не железная, чай. Ну, хочешь – убей, дядька Филимон, коли виновата в чем, только научи, что делать-то?!

– Ничего, – Филимон уже выдохся после своей вспышки, отступил назад и устало осел на скамью. – Не сделаешь ты ничего, не сможешь. И я не смогу, – ответил он на растерянный Веркин взгляд. И не шевельнулся вроде, так и сидел, сгорбившись, а ей показалось, будто руками беспомощно развел. – Никто не сможет – ни сотник, ни лекарка, потому как сам он должен, сам. Воином он жил, ратником – вот теперь этот ратник в нем его же и ломает, не может принять немощное тело. У души его нет сил отказаться от прежней жизни, а у тела нет сил такую душу в себе носить. Понятно ли тебе, каково это? Молчи! – прикрикнул он на Верку, но уже открывшая рот баба все-таки успела бухнуть с разгона:

– Да я...

– Молчи! – еще раз цыкнул он.

Верка наконец прикусила язык и замерла – вспомнила, что пришла слушать, а не выговариваться. А Филимон продолжал все так же неспешно, словно сам себе объяснял или размышлял о чем-то:

– Не каждой бабе такое услышать доводится, а лучше бы и вовсе никому не знать. Да и мне бы век таких слов не говорить. Ты уж прости, бабонька, но я сейчас не ради тебя – ради Макара твоего стараюсь, – он невесело усмехнулся ошеломленной Верке. – И тебе это тоже ради него знать надобно, ибо хоть и должен он справляться с этой бедой сам, но без тебя все равно не обойдется. Помочь-то ты ему ничем не сможешь, а вот помешать – запросто. А потому, чтоб поняла, ты вот что. Видела, у крыльца псина спит? Брех от старости только до миски и поползает. Ты сейчас пойдешь, в глаза ему погляди. Только морду его сама руками подними, а то у него сил уже ни на что не хватает. Ну, иди-иди, делай, что сказано!

Филимон наставил клюку на замешкавшуюся Верку, будто собирался ее подтолкнуть. Та недоверчиво взглянула – не шутит ли, но послушно метнулась во двор, исполнять веленое, хоть и не понимала, зачем? Вышла за порог и присела возле старого пса, дремавшего на солнышке. По собачьим меркам все сроки ему уже вышли, да, видно, сказывались хороший уход и забота хозяйская – тянул как-то.

Пес даже головы не поднял – ей самой пришлось помочь; и глаза не сразу открыл – как и жив-то еще, непонятно? Но, видно, все же почуял старый Брех, что не с пустой забавы баба его беспокоит. Поднял веки и глянул на Верку. В мутных слезящихся глазах старого пса промелькнуло что-то... Что – она не поняла, но уже не удивлялась, почему Филимон до сих пор кормит этого едва живого кобеля. А Брех опять взглянул на нее спокойно, словно сказал нечто важное, вздохнул и снова уснул.

Верка в задумчивости вернулась в дом и посмотрела на старого воина уже иначе. Филимон же только кивнул и прищурился на нее:

– Ну? Ты меня сейчас уверяла, что все видишь и понимаешь, а молодого кобеля в нем не разглядела! Он и сейчас прежний, пусть только в своих собственных глазах! – хозяин дома махнул рукой на раскрывшую было рот Верку. – Да ты не казись, тут не то что баба – не всякий волхв понимает. Даже у обычного старого кобеля в немощем теле прежняя душа бьется, а тут у тебя на глазах ратник свою душу убить пытается, ибо тяжела она сейчас для него. Или он ее убьет, или она его задавит. Что хуже, и не скажу.

Филимон покряхтел, с трудом поднял клюку и пояснил:

– Коли душа, что в нем сейчас места себе не находит, его в землю вгонит – беда, горе для тебя и дочки твоей, чего уж тут. А если он сам в сердцах свою душу скомкает да отбросит, как мусор в выгребную яму, тебе легче станет? Такое тоже бывает. Филата знаешь? Каким ратником был! Ты хоть еще молода, но помнись-то должна, какие он песни певал – соловьи от зависти замолкали!

Верка закивала было согласно головой, но Филимон снова не дал сказать.

– Не мельтеши, говорю! Сама знаешь: нету более того Филата! Нынешний годен только детей строгать, как кобели по весне, да по хозяйству вроде скотины рабочей. Ты у бабы-то его спроси, у Полухи, счастлива ли она с таким?

Верка невольно похолодела. И тут Полуха! Ну все один к одному... Знала она и ее саму, и Филата. Помнила их молодыми и бесконечно счастливыми в тот день, когда он ее в свой дом женой привел. Сама она сопливкой тогда была, но жила по соседству и вместе с подружками восхищенно глазела на шумную свадьбу и разряженных жениха с невестой. Девчонки, как водится, о своих будущих свадьбах намечтались вдоволь: кто во что нарядится, сколько приданного себе навышивает да кого подружками позовет...

И ей ли не знать, что сейчас, коли б не дети, которых поднимать надо, утопилась бы или еще что с собой сотворила справная и веселая когда-то хохотунья Лизка Полуха. От прошлой певуны остался только сильный, но теперь визгливый голос, которым она погоняла мужа, мало чем отличавшегося от коня, которого сам же запрягал в телегу.

А рухнуло то счастье у них как раз после того, как Филата порубленным привезли, и вернуться он в сотню так и не смог из-за увечья. Бабка нынешней лекарки на ноги его поставила, а вот душу спасти не смогла – запил Филат, совсем, как Макар нынче... И жену, чем ни попадя, прикладывал, и хозяйство у них тогда совсем оскудело.

Поп тогдашний разве что статями от нынешнего отличался, а помощи в таком деле от него меньше, чем от отца Михаила: молись да молись. У Полухи со лба синяк не сходил – столько поклоны била, последнее за свечки отдавала, а проку-то! Филат совсем из краев выходить стал: и били его не раз за неумную пьяную дурь, и дети перед ним на коленях плакали – все без пользы. То ли смерти искал, то ли и впрямь разум терял. До того дошло, что в пьяном угаре за меч пытался схватиться. Поднял бы на своих – убили бы сразу. Вот после этого родня

и увезла его куда-то из села. Несколько дней их не было, но вернулся уже другой Филат. Потом узнали – его мать где-то волхва нашла. Грех вроде, но ведь помогло. Вначале.

Филат пить бросил, спокойным стал, и, довольный всем, целыми днями при хозяйстве копошился. Полуха поначалу только что не пела, как прежде, да вот только ненадолго той радости хватило. Что там с ним волхв сделал – неведомо, но вскоре и соседи замечать стали: не похож этот Филат на прежнего. С лица-то вроде и он, а вот как глянет – чужой! Словно и не человек вовсе, глаза, как у нечисти болотной – пустые. За столом только ложку видит, в бане веник да шайку, а в постели будто работу справляет. Бабы у колодца шептались – душу из него вынули, не иначе. Жить так вроде и можно, но это если в глаза друг другу не глядеть, да ни о чем, кроме той же ложки, не думать...

– Поняла, о чем говорю, – одобрительно кивнул Филимон, глядя на то, как Верка от его слов зашлась страхом. – Только ты, бабонька, сейчас ВСЕГО еще не осознала. Пока только тем, что под юбкой спрятано, думаешь. И опять не корю я тебя! – повысил он голос, предупреждая ее возражения или оправдания. – Все верно, раньше тебе о таком и мысли допускать не следовало; пока счастье в доме, о беде думать – ту беду накликивать. Одно плохо: вы ж, бабы, пока до края не дойдет, все бабскими способами сделать норовите! А того не понимаете, что, как не колготись, а своими юбками весь мир не прикроешь – только пыли натрусишь. Твоего Макара хоть взять. Раньше-то, вспомни, коли он палец мимоходом порежет, так твои охи да ахи ему слушать вроде и невместно, а все одно приятственно. Любишь, значит, коли жалеешь, да переживаешь. Но то палец! А сейчас у него душа по частям рвется, а душу ахами-охами да бабьими причитаниями не исцелишь.

Филимон замолчал – то ли устал, то ли давал Верке подумать, и только когда та сама на него глаза подняла, продолжил:

– Ты сейчас зазря не суетись и дома при нем не вой. Ежели совсем уж невтерпеж станет, то со стиркой на реку иди, на дальние мостки – там и реви вволю. А то вон к моей Неониле приходи, та тоже мастерица лягушек сыростью порадовать. Что норов свой, говоришь, в узел завязала – это ты правильно, хвалю, только завязала ты его не тем узлом, что надобно, вот и перевязывай теперь, – подмигнул старый ратник. – Ты же баба шумная, иной раз и вздорная... Что, скажешь – не верно? А коли верно, так запомни: Макар в твоих глазах себя прежнего должен увидеть, тогда и возвращаться будет к чему. Вот так свой норов и выворачивай. И домашним своим хвосты накрути, дескать, грех живого оплакивать. Свекровь у тебя баба разумная – у самой муж ратником был, так что и поймет, и поддержит. Не уверен, что этого хватит, но хоть чуть ему полегчает.

Верка, обнадеженная поначалу советами старика, снова сжалась.

– Да пойми ты, – повысил голос Филимон, – никто от такой боли средства не знает – у каждого она неповторима, потому и лечение всякий раз новое измышлять приходится. Ты мне лучше вот что скажи: заходит к нему кто? Навещает?

Верка открыла было рот, не сдержавшись, коротко всхлипнула и, закусив край платка, задавила слезу, чтобы ответить обстоятельно.

– Игнат Кочка не по разу в день забегает. В другой десяток идти отказался, говорит, покуда дядька Макар слова не скажет, в прежнем считаюсь. Ратники часто заходят. Только и это ему теперь не в радость, я ж вижу. А вот Игнаше рад, он его за сына держит. – Верка замялась, не зная, говорить про попа или промолчать.

– Ну, чего замерла-то?

– Батюшка наш, отец Михаил зачистил.

– И? – явно заинтересовался Филимон. – Слушает его Макар?

– Слушает... Как каменный... А после к нему лучше не подходить, того и гляди, пришибет. Вчера на Игната с кулаками бросился – тот сразу после попа сунулся. Грозился кости переломать.

– Макар?

– Не-е, Игнаша! Говорит, пришибу, коли дядьку Макара в могилу загонит! – вздохнула Верка.

– Дурак! Ну, да я поговорю с ним. А что отец Михаил?

– Все смириться уговаривает! Коли, говорит, сложилось так, то только смирение и остается, – Верка уже не хлюпала носом: в голосе звучала то ли горечь, то ли насмешка. Филимон слушал внимательно, не перебивая, только головой кивал. – Слова-то он хорошо складывает, а все одно выходит: воля Божия, значит. Кара его. Страдания эти во искупление, за грехи. За жизни, загубленные на стезе воинской, Макара корит.

– Опять за свое взялся! Ну... – растеряв все свое спокойствие, Филимон вдруг выругался так заковыристо, что Верка ойкнула. Не часто и не всякому доводилось видеть старого рубаку в таком бешенстве. А тот со всей мочи саданул клюкой по столу – как только не сломал? – Неймется ему, мало Олега с Иваном! Волхвы Филата заговором поломали, а этот крестом да молитвой – и всей разницы! Ничего, укоротим, здесь мне и сотник не указ!

– А вчера он и вовсе уговаривал Макара коня продать. И справу воинскую, – вздохнула Верка. – Чтобы, говорит, к греховному не тянуло. И хозяйство на те деньги справить...

– Не вздумай, баба! И намекать Макару не моги!

– Что ж я, совсем дурная?! – возмутилась Верка. – Кто другой такое сказал бы – сама бы в шею выпихала! Но ведь грех попа-то. Да и не со зла он – отец Михаил добром вроде.

– Не вздумай! – словно не слыша ее, в сердцах повторил Филимон, – то серебро кровью отольется! Слышишь? – старый воин перевел дух и пояснил: – Вот и этого я тебе говорить не должен, да придется... Отец Михаил не со зла, конечно, но он не понимает или понять не может, что нельзя ратника, хоть и увечного, заставлять с поля боя отступить. Не научены ратники сдаваться – из них это еще в ученичестве выбивают. А он его уговаривает именно сдаться, вместо того, чтобы помочь ему бороться. Так что и думать не смей!

– Ну, не полоумная же я, понимаю! – всплеснула Верка руками. – Потому и пришла к тебе. Прокоп присоветовал: на днях зашел, во дворе постоял, послушал, чего Макар орет спяну, да и говорит: «Иди к Филимону. Если кто и поможет, так только он». Вот я и пришла... Научи, век тебя поминать буду! Внукам накажу, подскажи только. – Верка хотела поклониться по обычаю, но не выдержала и снова разревелась.

– Цыц, баба! Хватит, говорю, а то половицы отмокнут, весь пол поведет! – рыкнул Филимон. – Я тебе о чем толкую? Заруби себе на носу: слезами да уговорами ты его только в могилу загоняешь! Умом тут надо. Поняла? – Верка часто закивала. – Во, я ж говорил – не дура! А потому, бабонька, найди что-то такое, что его с прошлой жизнью вяжет крепче, чем с жизнью вообще, что и после смерти для него пустым звуком не станет. Вот за это коли зацепишь, то и вытащишь. Ты жена, ближе тебя никто его душу не видел, тебе, выходит, и думать. Надо, чтобы он не смирялся, а нашел силы подняться и бой принять. Не с половцами – это-то он умеет, а с судьбой и бедой, а это потруднее, чем всемером против сотни выстоять. Поняла? То-то... А теперь домой иди, а то и впрямь пол отмокнет.

Домой Верка возвращалась, поливая дорогу слезами, но перед самыми воротами опомнилась, остановилась, вытерла лицо концом платка и в ворота зашла, закусив губу.

Макар, еще не отрезвев со вчерашнего, валялся на лавке, на которую она же его накануне и втащила. Накормила прибежавшую дочь и, отправив ее с подружками по ягоды – со двора подальше, взялась за бесконечные домашние хлопоты. Вот только слезы куда-то подевались. Сами.

И даже мысли приходили совсем другие: «Хватит, наревелась! Наскулилась в подушку досыта! Прав, Филимон – не с того боку к Макару мостилась. Жалостью да причитаниями никому не поможешь и не спасешь, делать надо что-то. Вон, даже отец Михаил, хоть и негодный, а все-таки выход какой-никакой предлагал. На него сердилась, а сама-то только и смогла, что кудахтать, как курица, пока дядька Филимон носом не ткнул! Ну, прямо хоть об стену головой постучись с досады на свою глупость. А тут умом надо. И в один день тут не упрaviшься, как ни старайся».

Верка внимательно огляделась, будто впервые попала в свой дом. Поднялась, заглянула за печь, вышла в сени. Нет, она ничего не искала, просто пробовала увидеть все по-новому. Как он на это смотрел? Никогда об этом раньше не задумывалась. Макара ведь не столько раны мучили, сколько будущая жизнь страшила, вот и прятался он от нее в пьяный дурман. Чего там Филимон велел? Найти, что такого у Макара было, без чего он жить не мог?

Дочка Любавушка? Хоть и любит ее отец, но здесь что-то другое нужно, а не дочь. И не жена. А что? Оружие да воинская справа? Конь боевой? Ну да, наверное. Воинское добро дорого стоило, но Макар никогда не был до серебра жаден. Что же тогда?

Верка в который раз подошла к лавке, на которой спал Макар. Во дворе под навесом всхрапнул Рунок: он чуял хозяина и удивлялся, почему тот не выходит, почему не угостит горбушкой с солью?

Почему-то пришло в голову, что коли справу воинскую продавать, то и коня тоже придется. Верка вздрогнула: ни разу еще она не видела своего Макара, бредущего пешком к месту сбора сотни! Ну, никак не могла представить себе такого! И вдруг так горестно стало, словно в этом-то и есть главная беда – что он верхом не сможет больше! Ну, разве что самую малость, да и то шагом, а так, как раньше – легко, сидя в седле как влитой, уже никогда не пролетит галопом по Ратному. Был всадник, да весь вышел.

Вспомнила, как когда-то обижалась на мужа, что-де не ценит молодую жену, одну ее бросает. Понятно, что не своей волей уходил, сотник решал, и знала прекрасно дочь и внучка ратника, что не сможет муж остаться с ней, даже если захочет, но он-то словно не на битву, а на гулянку собирался, гад такой! Ему она, конечно, ничего не говорила, но себе-то зачем врать? Глупости несусветные в голову не раз приходили: не нашел ли себе где-то там зазнобу, что так рвется из дому? Мечтала, чтобы хоть раз ради нее дома остался, в поход не пошел... Дождалась, называется! Сбылась мечта! Ох, и дура же!

Но делать-то все-таки что-то надо. Подошла к стене, где, растянутая на колышках, висела кольчуга. Под ней меч в ножнах, слева щит, воинский пояс с мешочками, набитыми походным имуществом, сверху шлем с личиной и бармицей. Не Макара – отцово да дедово. Боевое снаряжение, которое он в походы брал, отдельно в сундуке хранилось. Мог бы Макар себе и подо-роже, и понаряднее справу подобрать, но вспомнился почему-то давний случай на ярмарке, когда заезжий купец предлагал Макару купить дорогой доспех, особо нахваливая его богатую отделку. Но муж только отмахнулся, посмеиваясь: «Пусть князья в золоченой броне красуются, а я свою ни на что не сменяю! Какой прок в вещи, если душа от нее только раз вздрогнет?»

Верка открыла сундук с воинской справой, вытянула и растянула его кольчугу. Вот след рубленого удара – от последнего похода отметина. И вот еще... А вот кольцо разорвано.

Страшно.

Сколько раз видела она на теле мужа синяки и шрамы, и каждый раз Макар полусмешливо отвечал, что вот-де половец дурень, саблей махнул, да не по его силе броня на ратнике. Выходит, это железо ее Макару жизнь спасало? И как же ратник после такого может не любить свою воинскую справу? А отец Михаил говорит – продать. Да как же можно побратима продать? Он хоть понимает, чего несет-то?

И не заметила, как руки сами потянулись к кольчуге, расправили ее, попытались соединить разорванные кольца... Потом подумала, вытащила из-под лавки суконную тряпочку и принялась уже осмысленно чистить мужнин доспех. Не женское дело, но и ничего такого нет, чтоб она не сумела: много раз видела, как это делают воины.

Вышла во двор, набрать песка, чтоб до блеска надраить, и вдруг услышала у соседей за тыном какую-то суету, словно хозяин тоже со своей бронью возился – звяканье железа она с детства хорошо различала. Не успела подумать, что и сосед, похоже, справу свою проверяет, как в воротах показались Макаровы братья и тоже за свое снаряжение взялись. И спрашивать их ни о чем не пришлось: старший деверь сам свекрови сказал, что смотр завтра поутру, сотник наказал всем ратникам и новикам явиться в броне и со справой воинской.

Дальше Верка не слушала: словно для нее сотник подгадал. Только как ей, совсем молодой бабе, к начальному человеку со своим делом подойти? Не до нее перед смотром, а после – поздно будет. Как ноги ее опять к дому Филимона принесли, она и сама не знала.

Глава 3

Макар. Возвращение

Утром, еще по росе, за тыном у реки начали собираться ратники и новики. Привычно разбивались по десяткам, идесятники придиричиво устраивали им смотр.

Макар, несмотря на тяжелое похмелье, все же добрел до места сбора, присел на бревно у тына и стал ждать. Мимо на боевых конях гарцевали его старые приятели, кто-то с высоты седла кивнул мимоходом, но рядом никто не задерживался. Устин остановился, будто раздумывая – подойти или нет, но его окликнули свои, и он, как показалось Макару, с облегчением, прищипорил коня, спеша на зов товарищей. Но в основном ратники равнодушно проезжали мимо, изредка бросая взгляды, словно недоумевая, а *это* что здесь делает? Бывшие друзья то ли с досадой, то ли с жалостью отводили глаза: не видели они тут прежнего Макара, а нынешнего – расхристанного, с испитым, помятым лицом – и видеть не хотели.

Вот от этого-то ему и стало плохо. Разум Макара, затуманенный от нестерпимого желания похмелиться, был сейчас не расположен каяться и корить самого себя за подобное отношение ратников, а потому услужливо подсунил объяснение: вот она, дружба боевая, называется! Стоило только в беду попасть, как сразу все отвернулись. Не нужен! Никому не нужен. Совсем. Калека, чурка безногая – да любой сопляк-новичок и тот больше уважения имеет. И поделом, нечего было сюда тащиться. Зачем пришел? Не про него теперь строй воинский, зачем себе душу травить? Хлебнуть бы сейчас браги, забыться. Совсем. Без возврата чтобы.

Между тем гул голосов и лязганье железа стихли. Кони, повинувшись своим хозяевам, замерли.

К строю приближался сотник.

– Здоровы будьте, ратники! – рявкнул он во всю глотку, оглушив, похоже, всех петухов в Ратном.

– Здрав будь! – с удовольствием, стараясь переорать друг друга, ответил сотнику строй. Тот удивился и только бородой качнул.

– Да-а, вовремя я вас из-под баб вытащил. Совсем, гляжу, силушкой оскудели. Как щенята слепые вякнули, ни хрена не слышно – бабы у колодца и то громче гомонят. А ну, еще раз! Здоровы будьте, ратники!

Как по селу крыши не снесло? Не иначе, чудом.

– А ну, еще разок! Здоровы будьте, ратники!

На этот раз наверняка перепугали всех медведей верст на сорок, не меньше.

– Вот теперь слышу, – улыбаясь в усы, пробурчал сотник. – Самую малость.

Макар по привычке, не соображая, что и зачем делает, тоже поднялся, грудь выпятил, спину спрямил; впервые после ранения показалось, что он опять вместе со всеми. Не было ни половецкой булавы, ни увечья – только строй ратников, задорно орущих привычное приветствие, одуряющий запах оружейного сала и сбруи, кружащий голову и заставляющий что-то восторженно, по-щенячьи, повизгивать. Только храп коней, не меньше своих хозяев довольных сплоченным строем и общим задором. И еще был ратник Игнат Кочка, стоявший в одиночестве, но старавшийся орать за весь погибший десяток разом.

Солнце над лесом, звенящие брони и голоса десятников, докладывающих сотнику. Мальчишки Ратного тоже построились чуть в стороне и жадно глядели на доспехи взрослых. В отдалении шныряли девчонки, а девки постарше сбились в кучку и, хихикая, обстреливали взглядами новиков и молодых ратников.

Все как всегда, как и во время прежних воинских смотров: для ратников дело, для остальных почти праздник. Было все. Не было там только Макара: и ноги держать отказались, и глаза словно пеленой заволкло, и изо рта вылетало что-то каркающее, противное. Не воинское.

Десятники по очереди отчитались каждый за свой десяток, и сотник двинулся вдоль строя, придирчиво его осматривая и время от времени устраивая кому-нибудь разнос за небрежение. Никто и не пытался оправдываться: все хорошо понимали, что не из вредности он цеплялся – их же жизнь это в походе сэкономит. Зато и докуки теперь всем хватит на неделю: сотник все, что сказал, помнит, а что забудет – десятники подскажут.

Только вот Макара эти хлопоты уже не касались. Можно сидеть на бревнышке, греться, бражкой баловаться. Наслаждаться жизнью, короче, покуда от такого счастья в петлю не полезешь или в браге душу не утопишь. Спросить только, чего это сотнику от него понадобилось, зачем велел прийти, да до дому. Ото всех, к браге.

С первого раза тот его и не услышал, пришлось голос напрячь. Обернулся, посмотрел сверху вниз с седла, словно не то что не узнал, а сомневался, что узнал верно. Лучше бы в морду дал.

– Звал, сотник? – слова едва выдавились из горла.

– Эх-кхе... Я десятника Макара звал, дело у меня к нему важное. Было... – Об умершем так говорят. – Значит, больше нет никого. Вот незадача... – не замечая Макара, посетовал сотник. – Кого теперь ставить, ума не приложу.

Земля колыхнулась, на голову словно перину накинули; ноги, и так не больно послушные, и вовсе едва держали. Не врал себе Макар, знал – не ратник он теперь, не для него путь воинский, да только жила надежда – детская, глупая, ничему не верящая надежда: вот скажет слово сотник, и вернется к нему если не прежняя сила, то хоть место в строю, и право ходить со всеми в походы. Пусть не для сражений – для помощи хоть какой.

А теперь нет ему места в этом мире.

Как до бревна доплелся, как сел – не помнил. В глазах прояснилось только после ковша воды на голову. Рядом шебуршился Кочка, здесь же стояли несколько таких же, как и он сам, увечных воинов во главе с Филимоном и Титом.

«А и плевать, пусть стоят, теперь все равно. Даже жизни самого себя лишиться – и то нельзя, предательство это. Значит, одна брага остается. Встать бы вот только...»

– Никак, обиделся? – над головой голос. Тит, похоже. А ему-то какое дело? – Глянь, Филимон, титьку отняли. Не заплакал бы!

– Не, Титушка, титька и утешение его дома ждут, – Филимон знал, куда побольнее ткнуть. – Вот сейчас откушает бражки, а уж с нее и поплачет, и похнычет, и Верке в подол обсоплвится.

Макара замутило. Даже не от злости, а от обиды.

– Ты... Ты... – слова застряли, да и слов уже не было. – С-суки...

– Эт мы-то? – выдвинулся вперед Дорофей Колот. – Ты себя-то видел? Тоже мне, кобель драный.

Макар опять словно в стену с разбега ткнулся. И это дядька Дорофей говорит? Который учил его копьё держать, с которым столько раз от врагов бок о бок отбивались!

– Что? Тошно? – Тит только что не хихикнул. – А ты и впрямь на себя полюбуйся. Ты куда заявился? Ты где сейчас сидишь, соображаешь? Или совсем голову брагой заквасил?

– Что? – глаза сами поднялись на стоявших перед ним.

– Что-что? Рожу-то когда в последний раз споласкивал? Зеркальце вон у Аньки Лисовиновой спроси да глянь. Только пусть Верка сходит, а то с твоим мурлом тебя там не признают, Фрол со двора выкинет!

– Что смотришь? Или не понял еще? – вступил в разговор Филимон. – Ты ж Пантелея покойного с головы до самых пят обгадил! Он тебя десятником прочил, за себя оставил, а ты его так... На смотрю сегодня только ты да Игнат Кочка от десятка были. Сволочь ты, Макар, распоследняя! На себе крест поставил – хрен с тобой. А парня зачем в дерьмо сунул? На сот-

ника он разобиделся, ишь! Сотник сегодня *десятника* Макара звал, а не дерьмо в заляпанных портах, с мордой синюшной! Чего таращишься?

– Погоди, Филимон... – Тит примостился на бревне рядом с Макаром. – Ни хрена он сейчас не понимает. И что половцам задолжал, не помнит, и что тому же Кочке за старшего приходится. Без его слова парню ни в десяток другой, ни в поход. Сотник с десятичества-то не снимал!

Макар сидел, слушал, словно не о нем говорили. Ишь, разлаялись. На смотр пришел не такой! А какой? Откуда- то возникло раздражение, что-то беспокоило, словно занозу в зад засадил. Потянулся рукой к пояснице и... только потер бедро. Воинского пояса на месте не было! Он вдруг понял, что вообще не помнит, когда в последний раз занимался своей справой, да и где она? На месте ли?

Нет, не вспомнить.

Рунка тоже вроде нет. И про него Макар забыл. Отец Михаил приходил – это запомнилось. Поп чуть не каждый вечер ныл о грехе, о спасении души, уговаривал справу и коня продать. Вчера вроде тоже... Неужто?!

Такого ужаса от одного только предположения Макар не испытывал с того самого раза, когда, очнувшись впервые после ранения на телеге, счел себя ослепшим. Не мог он такого сотворить! Или мог? Спяну в сердцах чего не делалось. Чего там Филимон талдычит еще? А-а, не до него! Неужто поп таки пьяного уток? Убью!

– Убью! – Макар схватился за костыль, ратники отшатнулись. – Убью, гад!

Колот собрался было перехватить, но Филимон его задержал, пока Макар, мотаясь из стороны в сторону и матерясь от боли, торопился к дому.

– Ты за что его укусил-то? – Тит присел на место Макара. – Куда он кинулся?

– Не знаю, Титушка, вот уж не знаю, сам хотел бы понять. Но куда-то попал, хорошо бы не пальцем в небо, – Филимон, не ждавший такой выходки от Макара, озадаченно потирал ноющую спину. – А вот кого он убивать собрался? Дорофей, ты уж пробегись за ним, как бы он не сотворил чего. Вон, Кочку с собой прихвати – поможет.

К дому Макар приковылял злой до крайности от собственного страха. От одной мысли, что на его Рунка какой-нибудь косорукий и дурной на голову замахивается плетью, у Макара мутнело в глазах, и попадись ему по дороге ратнинский священник, церковь наверняка осталась бы без него. Ворота на родное подворье не хотели открываться, порог в дом вырос чуть не до колен, и перешагнуть его стоило Макару большого труда.

Вот и клеть. Сундук со справой здесь должен стоять. Нету! Не может быть... Вот тулуп какой-то... Под ним? Нету! Где? И братья ушли – где-то со своим десятком, видать.

К печи, у которой возилась жена, Макар вывалился, уже с трудом соображая хоть что-то.

– Где? Справа где?! – он безуспешно попытался удержаться на ногах, но все же упал. – Верка, стерва, куда дела?!

– Макар, да ты что? Куда велел снести, там и есть. – Верка глазам не верила: перед ней опять ее муж! Взгляд бешеный – того и гляди убьет, но глаза прежние. Его!

– Беги! Беги, говорю! Скажи, не отдаю. Ни за какие... Назад пусть несут! Верни все, доплати! Не отдам! – Макар полз к ней, матерился, пытался встать, падал и снова матерился, а Верка млела от счастья. Вот уж никогда не думала, что мужнина брань покажется слаще соловьиной трели.

Любопытно, чего там, на смотру, сотник ему сказал? В нитку вытянется, а узнает! Жизнь длинная, да и дочке наука пригодится. Макар наконец добрался до печи и, ухватив за подол Верку, кое-как поднялся.

– Беги, дура!

– Куда бежать-то? Ополоумел совсем? Здесь твоя справа, дома. Сам велел сундук в дальнюю подклеть переташить.

– Я? – Макар попытался переварить сказанное женой, но все равно ничего не понял. – Зачем?

– А я знаю? – Верка старательно переводила разговор в привычную до ранения мужа беззлобную перепалку, даже руки в боки уперла, как бывало. – Ты ж налил да заорал, как полоумный! Де поп давно на твою снасть воинскую зарится, что кто их, попов, знает, мож, и спереть вздумает! Вот и велел все воинское железо в дальнюю подклеть сволочь, и остальную справу тоже. Сдалось оно отцу Михаилу! А мне оно надо – с тобой спорить? Братьев – тебя унять – дома не оказалось, так я чуть не надорвалась, пока дотащила! А ты дрых, скотина пьяная! А теперь на меня же и лаешься!

В другое время такой поворот не остался бы без внимания Макара, и скандал получился бы на славу, но сейчас его не это волновало: скорее бы глянуть, все ли на месте.

– А Рунок где?

– А где ему быть, коли хозяин бражкой занят? На лугах, в табуне.

На крик уже не оставалось ни сил, ни желания.

В дом вбежал Кочка и следом за ним Колот.

– Об чем шумим? Никак, плясать наладились? А чего в обнимку?

– Ох, вовремя вы... – Верка обрадовалась им как родным. – Дядька Дорофей, помощи! Макар вот ногу подвернул, а его в дальнюю подклеть довести надо. Игнаша знает, покажет.

– Ничего, управимся. Кочка! Ты где, пень моченый? Занавеску откинь! – Колот, особо не напрягаясь, погрузил Макара на плечо и понес, как колоду. – Не трепыхайся! Ты-то меня версту тащил, как тать торбу краденую – бегом и с оглядкой, чтоб не заприметил кто. Забыл, как от своры степной спасались? Ничо, завтра староста баню на всю ораву ладит, там и повспоминаем... – бурчал Колот, протаскивая друга в низкие двери. – Здесь, что ли? О, Кочка, пень моченый, посвети да кинь чего-нить на сундук. Десятника надо устроить с удобством. Учишь вас, учишь, пней моченых, и все без толку!

* * *

...Пантелей веником машет, словно половцев по степи разгоняет, а не старого друга парит. И Влас который ковш кваса с хлебной корочки на каменку плещет. Ух, и любят в десятке Пантелея попариться! И всегда хоть в дубовый, хоть в березовый веник, а добавляет десятник крапивы, для ядрености. Уже и стены трещат от жара, а Кудлатый ржет да тоже веник берет – сейчас они с Пантелеем на пару...

Квасок холодный, игристый, легко на душу ложится. Как в Ирии побывал! Весь десяток за столом в предбаннике от жара отдыхает, только Кочки нет – так и не положено новика, куда баньку в порядок не приведет.

Кудлатый опять чего-то врет, Вершень в лад ему подвирает, а все так и покатываются. И не слышно, чего говорят, но все одно хорошо. Только вот глаза у Пантелея странные какие-то.

Вроде и как всегда, да только куда десятник ни повернется, а все на него, на Макара, глядит. И остальные тоже. И смех, и разговор их далеко где-то, словно за стенкой, а взгляды тут, рядом остались. И так глядят, словно виновен он в чем. Да что ж такое-то? Неужто чего подлого совершил? Я ж с вами вместе до самого конца!..

А сзади в предбанник половец лезет, тот самый, которого Макар последним в брюхо пырнул. Не видит его Макар и повернуться не может, но точно знает – он это, а следом и остальные, порубленные им в последнем бою. И хохочут все, мерзко так ржут, будто рады чему-то, особенно тот, последний.

А Пантелей уже свой десяток уводит. Прямо так, через стену предбанника и уводит.

– Эх, Макар, Макар! Как посмел друзей боевых бросить? Мы на тебя, как на последнюю надежду, а ты... Один остаешься... Теперь навсегда... Прощай...

– А я? Я с вами! С вами я должен!

Макар рванулся следом, да половец сзади насел, не пускает, речет пуше прежнего.

– А, урус? Храбрый урус! Теперь с нами будешь! Нам служить станешь!

И остальные вторят! Бросился за своими следом, но стена ударила по больному колену, разбила в кровь губы, рассадил лоб.

– Макарушка. – Верка за спиной пыталась его удержать. Он и сам рад бы остановиться, да тело колотилось о стену, словно лещ на камнях; волнами накатывала судорога, и не хватало дыхания.

– Не предавал я! Не предавал! С вами остался! – и ведь проснулся уже, не спит, а сон все не кончался, и не стихал голос десятника:

– Ты ж нашей надежей был! Надежей...

Вроде отпустило немного. Братья прибежали, оторвали от стены, усадили на скамью, почти силком влили в горло что-то холодное. Тело отпустило, а за спиной все тот же половец глумился, рабом своим называл, и некому свернуть голову поганцу, некому его глотку заткнуть.

Дождь слово по чьему-то наущению с полночи капал, охлаждал голову. Ночь на исходе, а мыслей все не убавлялось.

Ни слова дурного не сказали ему вчера друзья, не попрекнули ни разу. Тогда с чего сон такой, что в петлю лезть хочется? За что Пантелей с того света укорил? Почему половец этот в его сны пришел и уйдет ли теперь? Неужто и впрямь подлость совершил? Чего с собой-то в жмурки играть? От себя не спрячешься.

Вспомнил вдруг, как Кочку в ратники посвящал... Эх, и это из головы вылетело! Уже тогда мальчишка его носом ткнул, выходит, да мало оказалось?

* * *

Обоз остановился на дневку, когда до дальних ратнинских огородов оставалась всего четверть дня пути. Надо было и себя, и имущество в порядок привести: на сроду не стиранной рухляди, что взяли с половцев, и вши, и всякая другая пакость всегда стадами паслась. Зачем такую радость в Ратное тащить? Конечно, обозники, когда по телегам добро раскладывали, все сушеной полынью с ромашкой-зеленушкой пересыпали, не жалея, но все равно, перетряхнуть да свежим пересыпать не лишнее.

Макара разбудила перебранка обозников: всяк норовил подогнать свою телегу поближе к реке да раскинуться пошире, а места сотник выделил не сказать, чтобы много, потому как растянется обоз вдоль берега – беда может приключиться. Вроде и рядом уже места родные, а кто знает, кого сейчас в лесу носит? Да и лесовиков не всех еще замирили.

Солнце только еще просыпалось, забелив небо на востоке, а в лагере все уже давно поднялись. Макар, не шевелясь и прикрыв глаза, прислушивался к творящемуся вокруг его телеги водовороту.

Ругались обозники задорно, иначе и не скажешь, с душой. Ратники, конечно, тоже не колокольчики лесные и заворачивали порой – сосны качались, но вот так, с вывертами, да присказками, с подковырками, да со словечками, по всему миру собранными, умели только обозники.

Ага, вот Петруха материл своего помощника, молодого парня, в первый раз взятого из дома с обозом. Тот умудрился опрокинуть под ноги кашевару два ведра только что принесенной воды. Тут же Карп каркал, как ворона, указывая новикам, что надлежит сделать, покуда утреннюю кашу по мискам не раскидали.

О! А это уже где-то в стороне сотник самолично разнос кому-то учинил. И, похоже, не обозному.

Пока каша не поспела, и подремать не грех, благо нога хоть и болела, но уже меньше, чем в первые дни. Тут главное – лишний раз не шевелиться, особенно с утра, этому Макар за дорогу успел научиться. Только не заснешь, когда вокруг такое творится. Волей-неволей фыркнешь, когда услышишь, как Хлопуша своих посылал по тем дорожкам, что и лешему не сыскать. Вот же не повезло человеку – ему бы по его норову да стати ратником быть, а у него одна рука с детства сухая – только видом на руку походила. Такой не то что меч – бабу за титьку не ухватишь.

Лежать бревном Макару надоело, захотелось если не вместе со всеми делом заняться, так хоть оправиться по-людски, а не под себя. Но пока и про это мыслить рано, а Ильи рядом не видно. Пришлось самому потихоньку устраиваться – мешок с сеном рядом.

– Дядька Макар, погоди, помогу.

Макар дернулся и тут же взвыл от боли в ноге.

– Кочка, ты? Мать твою! Игнаша, жив?! – единственный новик из десятка Пантелея стоял рядом с телегой и лыбился, как девка на торгу. Когда Макару сказали, что погиб весь десяток, кроме него, он и не вспомнил, что Игнат в тот день вместе с остальными новиками грузил обоз – так привык, что этот вечно лохматый парень всегда за спиной. – Ох! А я уж думал... Ты где пропадал, охламон?

– Так здесь и пропадал. Пока ты без памяти лежал, я с дядькой Ильей по очереди. А потом в дозоры от нашего десятка ходил. Сегодня вот до ночи свободен.

– От какого десятка? – не понял Макар.

– Так от нашего. – парень тоже не понимал, что так удивило Макара. – Больше-то пока никому.

– Так нет больше десятка. И Пантелея убили.

– Как нет? – в глазах Игната вспыхнула обида. – А ты? И я тоже! Дядьки Пантелея нет, стало быть, теперь ты за него десятником. Ну, и я новиком у тебя под рукой.

Макар скрипнул зубами: докатился! Новик поучал его, ратника, заслуженного в воинских делах! И ведь правильно поучал, по делу! Да-а, видно, здорово его та булава достала! Только все равно мало, еще надо бы, да по голове по пустой, для прояснения мыслей.

– Батя мне, когда провожал, так и наказывал, – продолжал Кочка, словно не Макару, а всем что-то объяснял. – Десятника во всем держись, а после него – Макара. Он правая рука Пантелея и его преемник в десятке...

– Ратником будешь! – перебил парня Макар.

– Чего?

– Ратником, говорю. Илья придет, сгоняй, позови Луку Говоруна. Да Леху Рябого с Еремой-старшим. Для ручательства двое надобны, ну, да тут лишних не бывает.

Парень, похоже, такого не ждал: по делу-то раньше осени воинского пояса ему не видать. Да и не часто вот так, в походе, коротким обрядом обходились. Но тут Макар в своем праве. Да и что это за десяток – десятник да новик? И других новиков в такой десяток не дадут, и потом кто ж десяток из одних новиков в бой пустит? Да и где теперь тех новиков брать? Не так много парней в Ратном – не выберешь: молодых бойцов их родня себе под крылышко всегда старалась определить. Но так далеко Макар решил пока не загадывать – до дома сначала добраться бы. А пока предстояло решить неотложное.

Первым подошел Ерема – седой, но не старый еще ратник, предпочитавший в бою секиру, что само по себе не часто встречалось. Ему и пояснять ничего не пришлось: поглядел и сразу все понял. Уселся на задок телеги, спросил о чем-то, да так, вроде бездельно, и дождался Рябого с Говоруном.

Недолог и немудрен походный обряд – новика воином назвать да слово сказать над воинским клинком. И ратникам для раздумий причин нет, все всё видели и всё знают. Негодного или просто в ком сомнение есть, десятник ТАК бы, своей волей, без испытания, не опоясал. А потому пояс, полученный в походе, среди ратников, пожалуй, ценился поболее, чем тот, что как положено, дома со всеми обрядами вручался.

После похода, в Ратном, на кругу воинском объявят его полноправным ратником, равным остальным, опояшут поясом с серебряными заклепками, да меч в новые ножны переберется. К вечеру все Ратное в гостях у отца новоиспеченного ратника побывает да по чарке хмельного за молодого воина поднимет. Тогда и девка, что из похода его ждала, ковш меду на травах ему поднесет да ревниво поглядывать станет, чтобы какая другая не сманила ее ясна сокола. Это потом, после праздника отец с матерью молодого ратника «не заметят», что ночевал сын на сеновале. Это потом...

А сейчас, вот так, просто и без лишних слов ручаются трое опытных бойцов за своего молодого соратника, берут на себя и позор за его будущие проступки, и почет за его славу. И до смертного часа будет теперь парень почитать для себя святым этот день, когда возле телеги, на которой лежал его порубленный десятник, ратники своим словом и ручательством намертво связали его с воинской стезей. Не зря, видно, Перун или еще кто из богов, воинам близкий, не дал половцам погубить парня. На нем теперь лежит долг за весь десяток.

* * *

Вот и Кочку он подвел.

И опять хохочет половец:

– Э, урус, был смелым, а теперь себя боишься! Трус стал урус! Иди ко мне, черный кумыс пить дам!

«Может, не половец, а совесть покою не дает? Ну же, Макар, не ври себе, а то уж и сдохшие половцы над тобой насмеются. Предал и Пантелея, и весь десяток! В свои беды с головой зарылся, про долги забыл. Или не забыл, а в мешок сунул, чтобы себя, бедного да несчастного, жалеть не мешали? Нет, не забыл ни о долгах, ни о десятке. Значит, не предавал? Тогда почему?»

Не потому ли, что веры больше нет ни в силу свою, ни в будущее? Нет веры в то, что удасть свои долги половцам вернуть. Но не только это.

Думать! А как? Не так же, как Степан с Пименом Устину советовали. Мне тогда Пантелей снился, будто о беде предупреждал...»

В первые дни после ранения Макар от слабости то и дело проваливался в сон, особенно, когда унималась боль. Вот и в тот раз не заметил, как задремал, и не удивился почему-то, увидев возле телеги своего покойного десятника, пришедшего его навестить. Тот стоял рядом и повторял то, что Макар уже не раз от него слышал: что не ладно-де в сотне, раскол пошел по десяткам. Что слабеет сотня, не дело творят пришлые роды. Да один из четырех, коренной, тоже к этим смутьянам примкнул, а это большой бедой обернется. Пантелей тогда говорил и говорил, вначале явственно, а потом словно издалека, вроде слышно, что говорит что-то, а что – уже не разобрать.

Макар даже обиделся на него: не видишь – пораненный лежу, ни до чего мне сейчас.

И голос Пантелея сразу яснее стал:

– Не дело говоришь, Макар, не дело. Самое время теперь и поразмыслить о делах ратнических. Никто не мешает, никто не тревожит, лежи – думай, а не додумаешь что, меня кликни, мы теперь всегда рядом.

Макар головой спросонья потряс. Приснится же! Но голос не утих – бубнил за телегой, словно и впрямь Пантелей в гости наведася. Вот только не десятник сидел у костерка в вечерних сумерках. Не понадобилось и смотреть, кто у огонька устроился: своих по голосу узнают.

– Мне что, я и у мельницы отсидеться могу. Люди мне верят, никого никогда и на горсть соломы не обманул. Живу, сам видишь, справно. Дом, почитай, полная чаша, так что я не за свой прибыток хлопочу. Тут в сотне дело... – Степан говорил спокойно, словно с неохотой, но и прерываться, похоже, не собирался. – Ты вот глянь: вроде и хорошо все пока, и половцам по зубам дали, почитай, полторы сотни погани положили. И с боя полно добра взяли, да с общей доли тоже получим немало. – мельник ненадолго умолк.

– ... Ты чего все одно и то же толчешь? Это я и без тебя знаю. Ты лучше скажи про то, что я, убогий, уразуметь не могу. Али нечего? – Устин, даром, что не стар еще, а кольцо серебряное уже получил. Воин из лучших, таких и десятники выслушать не гнушаются.

– Э, ладно приbedняться-то! Убогим ты был, покуда полкотла Петрухиной каши не умял. Половину сотни обездолил, на ночь глядя! – захохотал Степан. Следом заперхал Пимен, а потом вступил и Касьян-кожемяка; его простуженную глотку ни с чем не спутать. – А теперь вроде чуток поумнее стал. Вот под утро глянем в кустах, на сколь умнее. Все мы умнеем, у котла-то!

Макар невольно фыркнул, но у костра его то ли не услышали, то ли просто внимания не обратили.

– Будь нам охота с дурнем почесать языки, Битюга бы вон позвали, он на кашу дюже падкий. Потому и говорим с тобой, что для сотни ты кровь от крови...

– Ну да! Я уж зарумянился. Дальше валяй!

– Угу. Касьян, плесни кваску, будь милостив. Ага... вот так. Ух, хорош! Так вот, все вроде в сотне у нас, как и следует, только ты глянь-ка вот как. Отчего, скажи, долю Семена Копаня, новика, из первого же похода мы домой везем, а не он сам? Меч его только двоих половцев посечь и успел. С чего? Ну?

– Так молодой еще... был. И с двумя сразу, да пешим.

– Да? А железо, помнишь, он куда поймал?

– В брюхо. Не повезло. Сколь мучился перед смертью, и вспомнить тошно.

– Нет, ты вот скажи – почему?

– Потому! Говорю ж, молодой был, – Устин никак не мог взять в толк, чего от него ждали товарищи.

– Молодой – не молодой, а обоих враз посека, – буркнул Пимен. – А пырнули-то его ножом засапожным. В голое брюхо.

– Так я и говорю, молодой еще, доспеха путного не имел. Что был – и тот с учения остался.

– Во-о-о. – протянул Степан. – А теперь ты мне еще вот что скажи. Видел, как ратники Пантелея легли?

– Ну, не успел я к ним. Не успел! – голос Устина сделался враз злым – до сих пор, видать, себя за свою оплошку у обоза корил. – А ты меня, что, за мое брюхо виноватить собрался, что ли? Так и ты к ним не поспел, не тебе и корить! Перед бабой и детьми Пантелея сам повинюсь, не твое дело!

– Ага, вот только и дел у меня, что с твоей задницей суды рядить. Сам с ней разбирайся. И не винит тебя никто, успокойся. Я ж совсем другое спросить хотел. Раны их видел? Куда их железом достало? Ну?

– Так все видели. И что? – заскреб бороду Устин.

– Видели, да не думали! Пантелею куда досталось? Ну?
– Так сулицей ему, в лицо.
– О! – поднял палец Пимен. – А Власа куда?
– Ноги ему покромсали, в куски. Кровью истек.
– Верно, – продолжал свое Степан. – И Кудлатого срубить не могли, покуда щит не излохматили до рукояти. И Макара по ноге только и смогли достать, а бронь бы поплоше оказалась – и его бы хоронили со всеми.

– Да знаю я! К чему клонишь?

– А сам подумай: Копань в брюхо железо словил, просто потому, что кольчуги справной у него не нашлось. Пантелею сулица голову пробила, с чего? Личины у него на шлем не было. И у Кудлатого щит – одно дерево, без накладок. Влас один бы всю свору порубал, да по ногам достали. И Макар сейчас бы в телеге не валялся, коли бы ноги железом закрывал. А остальные – что, по-другому легли? У Бориски коню голову рубанули, да пешего уже стоптали. А...

Чуток помолчали. Макар тоже ждал. Интересно, к чему Степан клонит, не просто же так в больном копаются? То, что в сотне хорошей брони недостаток, и так всем известно, так от его разговоров ее и не прибавится.

– Ну и дальше что? – не выдержал наконец Устин.

– Дальше? Семерых отличных бойцов потеряли. Полпуда железа не нашлось и кожи... Разве жизнь дешевле кож?

– Не понял – это ты кого сейчас винишь?

– Да чего тут понимать! Кто у нас брони делает?

– Кузнецы, знамо, – снова заскреб бороду Устин.

– О! – вступил Пимен. – А где они сейчас?

– Так с нами же, в походе... – Устин еще больше озадачился. Он уже начал злиться на Степана, который все время вилял и размазывал слова, словно сопли по забору. – Ты чего петли вьешь, как заяц по полю? Кузнецы – то тут при чем? Они и без того все, что могут, делают.

– Вот именно! Мы в походе уже девятую седмицу разменяли, а кузни в Ратном холодные стоят. Сколько добра понаделать можно за этакий-то срок!

– Так они тоже ратники. Вон Касьян шорник, а сидит здесь с нами у костра...

– Эт ты верно подметил, – согласился Касьян. – Именно сию. Покуда ласы здесь точу, там бы со шкуры мязгу снял, или на ремни для уздечек порезал. Да просто замочил пяток, все больше пользы, чем здесь кашу жрать да треп пустой слушать!

– Так дело-то общее! – растерялся Устин. – Иначе- то как? Мы ж отродясь ратники, и служба у нас княжья.

– Да кто ж с этим спорит? Ратники, конечно, да вот только разные чуток. У сотника нашего какое ремесло, с чего кормится?

– Так, знамо дело – воинское! С него и кормится. Мы все так, почитай.

– Э, нет, не все! – снова вступил Степан. – Касьяна с братом возьми: все Ратное седлами да уздой снабжают, все ремни из их рук идут. Или кузнецы – как без их трудов жить? А уж воинское железо вообще только с их рук.

– А как же иначе-то? – пожал плечами Устин. – Всяк свою долю вносит, у каждого ремесло, помимо воинского, имеется.

– Тьфу ты, голова садовая... – раздраженно сплюнул Степан. – Я ему про Фому, он мне про Ерему! Я те про что толкую-то? Те ратники, что кормятся больше с меча, чем с ремесла – лучшие у нас. Тебя вот взять: меч для тебя и теща, и жена, и мать родна, потому как он для твоей души главный. Не можешь ты по-другому, потому как из лучших. И лучший именно поэтому! Хоть и хозяин справный, но все одно – прежде всего вой. А вон Касьян – ему в мечном бое до тебя ввек не дотянуться, потому он не только в походах счастья ищет. А может, как раз потому он и мечник так себе. Не важно. Зато он кожу знатно мнет, те же седла кроит, доспех

кожаный и подкольчужник тоже его руками ладятся. Без его трудов тебе никак не обойтись, будь ты хоть каким бойцом искусным. Сам- то в кожемяки не пойдешь ведь?

– Я? – Устин озадачился еще больше. – С чего бы? Не мое это дело! Да и не по нраву. Да и зачем в селе еще один кожемяка?

– О! – опять воздел палец Пимен. – И мы про то же! И в кузне ты чужой. Не по скудоумию или лени, просто стезя у тебя другая. Вот и подумай: зачем кузнецов да шорников без нужды в походы таскать? Ну да ладно бы, бондарничает кто или еще как, а тут – справа воинская! Это ж тоже служба, только не мечом махать. Много ли в том же Касьяне проку в бою? Нет, есть, конечно... Только будь у десятка Пантелея все, что потребно, сколько половцев от них спастись бы смогло? Вот то-то...

– Ну, так это понятно. Но нету если? – удивился вроде детскому вопросу Устин. – Было бы, тогда какой разговор?

– Да и было бы, коли бы ремесло без дела не стояло! – взвился Касьян. – А то нас вон с братом в поход со всеми сорвали, кузнецы тоже хрен знает чем заняты! Да мы за то время, что тут мечников из себя изображаем, всей сотне наделали бы и наколенников железных на коже, и поножей, и накладок на щиты с подкладом кожаным! Ими бы в походе и поучаствовали. Ведь коли тебя снарядить как надо, так ты нас с братом и Пимена со Степкой один стоять будешь! И еще на пяток таких, как мы, хватит. А ведь дождутся – начнут мастера уходить от этой обузы туда, где их работа в цене и почете, где их от ремесла в походы не гоняют.

– Так и валил бы туда, коли такой умный! – взвился Устин. – От дедов так заведено, на то у сотни от князя уважение...

– Да ты сядь, Устин, не серчай... Чего ты на нас яришься? Мы-то свои, нам сотня родная, душа за нее болит, потому и говорим. – примирительно вздохнул Пимен. – От своего долга не бегаем, сам знаешь, но думать-то никто не запрещает! Оно, конечно, коли князь приказывает, сотнику вроде и деваться некуда, но ведь с умом же надо смотреть! Коли на пользу делу, так иной раз и стоило бы мастеров поберечь. Хоть вот тех, кто справу и оружие делают. И ежели это остальных усилит, так и княжья служба не пострадает. Пока-то мы в силе, а как дальше сложится?

Устин замер, переваривая сказанное, Макар тоже задумался. А ведь прав, похоже, Пимен. Крохобор он, но прав. Будь справа получше, сидел бы Макар со своим десятком у костра, жарил бы кабанятину, до дома версты своими ногами бы считал. И вдруг так больно в груди сдавило, так обидно стало! На все сразу обида закипела. На половцев – подлых тварей, которым только пограбить да из чужого дома пустошь сделать. На богов – и на старых, в которых деда еще верили, и на нового, греческого, в которого на княжьем службе верить заставили – за то, что не помогли, не спасли Пантелея с десятком. На сотника, что и впрямь непонятно зачем всех в походы таскает. На все и вся. И сам не смог бы сказать, на что именно.

* * *

Напрасно Макар корил себя за то, что тогда, лежа на телеге, поддался накотившему отчаянию и так легко поверил словам Пимена. Это не удивительно – раненым все видится в мрачном свете.

Но была и еще одна причина: у костра сидели только воины, а значит – свои. Потому-то Устин и не оборвал собеседников, ведь заговорил о чем-то подобном даже не посторонний в Ратном человек, а кто-то из обозников, немедленно схлопотал бы в ухо – за то, что сотника лает, за то, что усомнился в правильности заведенного издавна порядка... Да за все сразу!

А сознание воина так уж устроено, что недоверчивые и настороженные со всем остальным миром, они привыкли безгранично верить своим. Тем, с кем идут в бой, тем, кто прикрывает им спину. «Один в поле не воин» – не пустые слова, и сила воинов только во взаимо-

действии. Это первое, что вдальблывается командирами и самой спецификой профессии; иначе нет боеспособной команды, связанной единой целью, а есть в лучшем случае только бойцы-одиночки.

Но именно поэтому воины и оказываются совершенно беззащитными против предательства своих, если у этих «своих» вдруг меняются цели. И даже когда понимают, что их предали, цинично обманули и использовали, больше всего переживают не катастрофические последствия этого предательства, а тот факт, что обманул СВОЙ. Верили ведь до последнего и вопреки всему – против всего остального мира. А он-то уже, оказывается, давно НЕ свой. Почему?! А цели поменялись! Как поменялись они у Пимена и Степана.

Но, с другой стороны, неотвратимость наступающих в сотне перемен ощущали все. И необходимость как-то к ним приспособливаться – тоже. А как? Кто ж его знает... Потому тот разговор и стал вообще возможным: то, что вчера еще казалось немыслимым, сегодня уже обсуждалось. Вроде бы невзначай, но обсуждалось. И никто не мог предсказать, что будет завтра.

Но Макар ни о чем подобном пока не задумывался. Он и сам не знал, с чего ему сейчас вспомнился тот невольно подслушанный разговор и дергал, как заноза. Что-то тревожило, а что – непонятно: о чем только ратники не говорили между собой на привале, особенно когда возвращались домой из похода. Ну да, конечно, хмельного они тогда выпили, а это неправильно; сотник увидел бы – непременно разнос учинил, но больше для порядка – все ратники опытные, с понятием.

Правоту Пимена Макар в тот раз признал, а вот сейчас, доведись заговорить про то же самое, уже и поспорил бы. Ну хотя бы о том, что никакой доспех от прямого удара не спасает – без воинского умения и сноровки и в самом надежном доспехе разделают, как Бурей кабанью тушу... Нет, на самом деле не о доспехах тогда речь шла.

Что же так за душу цепляло?

Макар все сидел под дождем и пытался разобраться в себе, а Пимена пока из головы выкинул – привязался же, зануда грешная! И без него есть о чем подумать. Дурной сон словно вышиб его из морока обратно к жизни. Видно, и впрямь, Пантелей пришел, чтобы ему голову поправить, ибо начудил ратник – исправлять надобно.

Накануне в бане, куда его, как мешок с сеном, на плечах принесли, разве он один увечный был?

«Тот же Колот: силы в нем, как в целом медвежьем семействе, а что нутро разбито, кто видит? Почитай, все здоровье откашлял с кровью после стрелы, которую в прошлом году поймал. Не то что воевать – ямку копать с расстановкой приходится.

А Филимон? А Тит? А Прокоп? И у них ведь долги оставались. Неужто смирились? Неужто с совестью и достоинством воинским как-то договориться сумели? Нет! Во что угодно, но в это не поверю...

Но коли не смирились, то как тогда? Кто-то, кого не совсем скрутило, в походы ходит, пусть и не в ратном строю – в обозе тоже есть где воинские знания приложить...

Те же подводы с воинским припасом сотник абы кому не доверит. Тут понимание надо иметь, это не харч и не рухлядь, тут воинский человек нужен, с опытом. Чтобы и уложить все правильно – во время боя в телегах не покопаешься. Подлетел десяток – а ему и стрелы в колчаны, и сулицы к седлу, и копье, у кого сломалось. В бою всяко поворачивается: и припас наготове держать надо, а коли отступить или, наоборот, вдогонку, то чтоб без возни – вскочил на передок и погнался. Конечно, я-то подводы оружейные самую малость по-другому бы ставил, а то вон в прошлый раз одна, со стрелами, чуть половцам не досталась! Надо бы сотнику с Буреем сказать, а то неровен час...»

Макар вдруг поймал себя на том, что думает теперь вовсе не о своей беде. Вроде и об увечье не забыл, да только тянуть вниз, в землю, оно почему-то перестало. Неужто есть что-то, для чего и он сгодится?

Не зря же сотник его на смотр вызывал. Знал и об увечье, и о пьянке, но позвал. Значит, верил в него? Видать, нужен он был. А может?..

Андрон Комель, старый вояка, что командовал воинской частью обоза, подчиненной только сотнику, а не Бурею, в последний раз в поход сходил. Туда-то сам, а обратно все больше на телеге, ноги совсем не держали рубаку – годы свое взяли. А на его место не то что обозного – далеко не всякого ратника поставят; слишком важно для сотни, чтобы этой частью обоза – всего-то в десяток телег – распоряжался опытный и умный человек. Может, сотник Макара и звал, чтобы вместо старого Андрона поставить? Ведь всегда туда определяли именно десятника, и не обязательно увечного...

«Точно, сотник меня туда наметил! Ой, ма-ать!.. А я-то приперся с синюшной мордой, в старых портах... Без sprawy воинской! Дура-а-ак! Какой же дурак! И еще обижался, что не так встретили! Вот уж позорище!»

Больше всего Макару хотелось треснуться головой об ворота или отходить самого себя поперек спины чем покрепче. Да ведь опять братья прибегут, Веруня все равно не спит, прислушивается, а то и вовсе за дверями притаилась. Эх, драла его бабка в детстве крапивою по голому задку, да видно, мало. И батька, похоже, поленился – всю дурость ремнем не выбил, вот теперь она и прет запоздало. Верно тот половец во сне скалился – голода подзаборная, не воин...

Не воин?! А вот хрен! Не дождетесь! Поквитаемся еще!

«А ведь на этом месте я половцам не то что долги вернуть смогу, а и сам, пожалуй, еще одолжусь! Тут, главное, так исхитриться, чтобы ратникам опорой за спиной стоять, чтобы оружие в достатке и вовремя...»

А с чего ты взял, что сотник вместо Комля тебя прочит? Хотя, сам же он и сказал, что нет больше десятников... Как нет? А я кто? Хвост телячий? Ой, позорище! Завтра, нет, сегодня уже – вон, солнце встает – к сотнику виниться! Нет, сначала к Колоту схожу, и уж с ним вместе... Врешь, собака половецкая, мы еще повоюем!»

Солнце выбросило луч из-за леса прямо в глаза Макара. Тот прищурился, улыбнулся и вдруг приветливо помахал навстречу рассвету, словно со старым приятелем сговорился и по рукам ударил.

Часть вторая

*Перелом по судьбе и по сердцу —
Словно острым клинком полоснуть,
Но пришлось нам, раз некуда деться,
Выбирать свой единственный путь.*

*И хоть зубы крошились порою,
Мы прошли сквозь огонь перемен.
Кто как смог. Кто-то выбрал иное,
Иль дорогу найти не сумел.*

*И не ведая, что там, за краем,
Те, кто всем не боялся рискнуть,
Находили. Но больше теряли,
Чтобы в завтрашний день заглянуть.*

И. Град

Ратное. Весна – начало лета 1125 г.

Глава 1

Фаддей Чума

Ратники, не ходившие на Кунье¹ и потому в дележе добычи участия не принимавшие, покинули строй. Кто совсем ушел, переваривать и осмысливать все случившееся (благо, было чего), а кто, как и Чума, остались глянуть, кому что достанется. Ну, и еще интерес имелся – воинскую справу какую или что другое по хозяйству обменять или, если получится, перекупить у удачливых.

Первым жребий тянул Мишка, внук сотника. И как угадал! Из-за спины Фаддея послышался завистливый вздох кого-то из ратников, тоже не ходивших в поход: кому что достанется. Ну, и еще интерес имелся – воинскую справу какую или что другое по хозяйству обменять или, если получится, перекупить у удачливых. – Вона, глянь, каких холопов ухватил! Везет щенку...

Фаддей только зубами скрипнул. Внутри нарастало непонятное ему самому раздражение: и впрямь, везет сопляку! Холопская семья досталась на зависть: глава – здоровенный лоб, не старый еще, да баба его, дети – девка старшая в самом соку, вторая помладше, да двое отроков. Один-то, правда, хилый совсем, то ли болен чем, то ли уродился таким, а вот второй, хоть и младше, но шустрый и прямо сейчас в хозяйстве сгодится.

И ведь Мишка этот сыну Фаддея ровесник, а в походе уже побывал и отличился там, если все ратники признали за ним право получать долю наравне со взрослыми. Не зря его Бешеным прозвали, видно, в прадеда пошел. А главное, есть кому его вперед подтолкнуть, поддержать и научить – не придется парню самому дорогу в жизни зубами выгрызать.

И со второй долей Бешеный угадал. Заслужил, конечно, что тут скажешь, а все же... И с чего это Лисовинам так удача поперла, как снежный ком с горы? Словно наворожили. Как будто своих мало – еще целый выводок щенков где-то сыскали да в род приняли!

А ведь, похоже, старому сотнику с нападением этим и впрямь леший нащептал. Что на Славомира нарвались в дороге, ну так отбились же, а не случилось этого, так еще неясно, как бы все обернулось: Пимен-то со своими к встрече уже готовились, да не ожидали, что куньевские встрянут, а безногий калека так крутенько повернет.

Не зря Корней такой довольный, аж светится. Ну да, главное в этом походе не добыча. Удача! Удача – вот что главное! Похоже, переломил все-таки судьбу старый хрыч. После того, как Фрола убили да он сам ноги лишился, род, почитай, заглох. Лавр уже совсем не то: ратник он хороший, но до брата ему и в прыжке не дотянуться. Многие так и думали: не поднимутся Лисовины, на закат повернули. Бывает, не они первые, не они последние. А оно вон как вышло.

Вроде и недолго ездил Корней с семейством по гостям, зато с чем вернулись? Пожалуй, только Пентюх со своей Донькой не заметили, что уезжал старый калечный ратник, а вернулся Корзень, и что этот Корзень держит за пазухой, не известно никому. И про полученную княжью гривну узнали еще до того, как Лисовин с семейством обратно припожаловал. Теперь старый сотник свою власть никому не отдаст, но слишком уж долго она оставалась бесхозной – вот кое-кто ее своей и посчитал, да рано, похоже.

Чума в эти распри не влезал, однако понимал, что в сторонке отсидеться ни у кого не получится. Пимена ему любить не за что было, только и Корней не подарок. Хрен редьки не слаще. Но и раздоры в сотне никому не нужны.

¹ См. роман Е. Красницкого «Отрок. Бешеный лис», часть 1.

* * *

То, что жизнь в Ратном меняется, и меняется неотвратно, Фаддей уловил нутром опытного воина, привыкшего заранее предвидеть любую опасность. Старого китайского проклятия про жизнь во времена перемен Чума, конечно, знать не мог, но если бы слышал, мудрость китайцев оценил бы непременно. Ничего хорошего от происходящего он не ждал – старый, привычный уклад, заведенный от дедов и прадедов, ломался, и то, что под его обломками и сгнать недолго, сомневаться не приходилось. Вот только понять, что причиной этому не Корней и не Пимен с Устином, а процессы, давно уже происходящие и в самом Ратном, и в мире вокруг него, Фаддей не мог. Не было у него для этого ни соответствующего опыта, ни информации, достаточной для анализа. Да и кто бы на его месте смог отстраниться от собственных проблем и беспристрастно оценить ситуацию? Человек, которого несущийся вскачь конь грозит вот-вот сбить и растоптать, не в состоянии оценить мастерство наездника, поэтому вряд ли Фаддей стал бы слушать того, кто попытался бы ему объяснить, что перемены не только неизбежны, но в данной ситуации еще и являются единственным путем для сохранения Ратного и сотни в меняющемся мире.

Традиции, сто с лишним лет помогавшие ратникам выживать во враждебном окружении, постепенно становились помехой, ограничивая возможности для развития. Особенно теперь, когда от последнего действительно враждебного поселения остались только головешки, противоречия между различными группами ратников неизбежно должны будут обостриться, независимо от их желаний и поступков. Резкое возвышение Корнея или неудовлетворенные амбиции Пимена выполняли роль внешних признаков этих противоречий, а причиной являлись объективные процессы, происходящие в обществе.

Так ранней весной корка наста прикрывает тающий снег, и если не подозревающий подвоха путник, поверив в прочность этой корки, попробует пройти по ней, то хорошо если просто в луже очутится, а то и унесет его талой водой неизвестно куда.

В Ратном вроде бы все шло, как всегда, но под слежавшимися пластами традиций уже не одна полынья протаяла, и безоговорочно доверять привычному укладу уже не стоило. Половодье перемен захватывает все, что попадает ему на пути, хоть и начинается оно тихо и незаметно.

* * *

А ведь когда незнакомого отрока, как оказалось, Корнеева родственничка, лошадь притащила на вожжах в Ратное да узнали от него о нападении на лисовиновский обоз, не только Пимен с Устином вскинулись. Фома тоже свой десяток бросился собирать – случай-то какой! Чума не сомневался: если бы они успели вовремя, так Корнея со щенками сами и добились бы. Еще лучше, коли бы тати без них управились, а они вроде как припозднились, но зато потом лесовиков за своих покарала. И все добро с Корнеева обоза, и добыча с татей им бы пошли. И почет, и, главное – Лисовинов бы по-тихому удавили! Без старого Корзня да его немного уroda они почти беззубы. Один Лавруха не помеха; с ним бы справились.

Недаром Пимен вместе с Устином по селу метался, своих собирал. Десяток Фомы все же не поспел, Лука шустрой оказался. Да и стоило того ожидать – рыжий десятник своих ратников гонял, не жалея пота, а то и морду ленивому в кровь разбивал, ибо нежалостлив, но обиды на него никто не держал: учил Лука хорошо, и от желающих попасть в его десяток отбоя не было.

Вот и не диво, что Говорун свой да Глеба десятки уже на коней поднял, а ратники Фомы только за брони хвататься начали. Да и остальных, кто посноровистей, Лука с собой прихватил – десятка четыре набрал и двинул галопом Корнею на выручку. Устину с Пименом только

утереться осталось: что ни сделай теперь, все одно пустое, по-тихому уже не вышло бы. С четырьмя десятками односельчан, таких же ратников, схватываться – пупок развяжется.

А самое главное – Кунье, что много лет портило ратникам кровь, и сладить с которым никак не удавалось, сровняли с землей. И без потерь, почитай, обошлись. Ратники подобного не забывают, и поднять их против Корзня никому теперь не под силу – к старому рубака удача вернулась! Сроду столько холопов в Ратное не приводили, да и рухляди в Куньем взяли немало – все дворы подводами забили.

Знатная дележка, ничего не скажешь. Как раз из-за этого Фаддей и остался посмотреть на жеребьевку. Варька уговорила прикупить холопов – рабочих рук в семье не хватало, в прошлом году едва управились в страду. И рухлядь кое-какая не помешает. Плуг новый хорошо бы. У лесовиков, конечно, вряд ли с железным лемехом найдется, но чем черт не шутит. А если повезет, может, и перекупить удастся подешевле.

Но уж больно нестерпимо оказалось Фаддею стоять вот так в сторонке и на чужую удачу завидовать! Он потому и в разговоры не вступал, чтоб не сорваться: так хотелось дать кому-нибудь в морду – кулаки зудели, и досада душила непонятно на что и на кого... Хотя чего ж непонятно? Десятнику своему за такое счастье поклониться надобно! Чума чуть не зарычал с той досады и на него, и на себя.

«Егор-то, как свинья, все сладкую серединку ищет! Мудрила, мать его, на мою голову, хитросделанный! Был бы попроще, так, поди, и я бы сейчас среди удачливых стоял, а не в сторонке зубами скрипел. Да и сам хорош! Нет бы плюнуть да с Лукой податься, так ждал, пока десятник снесется. Вот и застрял, как боров в расщепе – ни бабку назад, ни задницу вперед... А Егор, похоже, и Корнею на помощь не спешил, и Пимена с Устином дальними огородами через большак послал. Ох, темнит он, что-то выгадывает... Довыгадывался уже, редька едкая – все без доли остались!»

Да бог с ней, с прибылью, не из-за холопов и рухляди Фаддей на своего десятника сейчас злился. В бою побывать, пусть и без добычи – любому вес прибавляет, а сидя дома, много ли уважения добудешь? Доля? Да хоть песка горсть – не суть. Главное, что с бою взята.

Фаддей и сам не задумывался, отчего он до той доли так жаден. Ведь скупердяйством никогда не страдал, напротив, того же Пимена откровенно презирал за прижимистость и заботу только о своей мошне. Но вот с бою взятое – это другое. И не только он, все ратники ту долю не равняли с иным прибытком, который имели для жизни и прокорма – хоть с работой в поле, хоть с ремеслом. Не только в кунах и гривнах та добыча оценивалась: простая медная подвеска, с клинка взятая, веса к слову прибавляла не в пример больше, чем золотая, но на ярмарке купленная.

Спроси кто сторонний, почему так, наверное, и ответить не смогли бы, да и не стали бы, пожалуй, ничего пояснять; удивились бы только, что тут кому-то непонятно. Как можно равнять воинскую долю с прибылью? Это для татя добыча – лишь воз добра, легко давшийся в руки. Главное, что в охотку и без риска, потому редкий из них становился хорошим бойцом, и никогда – воином. Ему добыча нужна для легкой жизни, а жизнь воина никогда легкой не бывала. Тать-то как раз свою жизнь превыше всего ценил, оттого от сильного противника бежал, все больше кого послабее пограбить норовил, и в чужие земли за долей не ходил: с соседа взять и ближе и проще. Татьба – она везде татьба, на всем свете одинакова.

А у воина долг перед теми, кто за его спиной, перед теми, кто его защиты ищет, и перед данным словом – служить и защищать. Потому и добыча – лишь награда за труды ратные. Походы боевые много сил берут, ох много! На хозяйство уже что останется, то и останется.

Это только мальчишки в своих мечтах возвращались домой из битв и походов на статном коне да в сверкающих бронях, с лихой песней на устах. Жизнь те мечты быстро окорачивала. Что люди – нередко кони возвращались в родные стойла с ребрами, едва прикрытыми мясом.

А если еще в бою железо вражеское доставало? Воды-то, что живой, что мертвой никто пока не сыскал, а раны в одну неделю не зарубцовывались. Как семью кормить? Как хозяйство не порушить? Баба, даже самая справная да сноровистая, одна все не потянет. Вот и старался ратник добычу взять, хоть на обмен, хоть для хозяйства. Пусть разовая, но все прибыль.

Самое же главное, как еще отметить воина, который ради других людей ни себя, ни близких своих не жалел? Только достойной долей в общей добыче, прилюдно, при всем народе признав этим его заслуги. И если богатую добычу не всякий поход приносил, то уважение достойным – всегда.

Потому и ходили ратники в походы не за добычей, а за спокойствием земли своей, за безопасностью детей и внуков. Потому и слово воина ценилось тяжелее купеческого золота.

Да еще кольцо серебряное... С детства Чума глядел на эти кольца с восторгом, все мечтал, как получит такое, да к Варьке хвастаться пойдет. Вот теперь и немного до него вроде осталось, и воин он не последний, а все никак! По хорошему-то, у него и больше побед, чем на то кольцо надобно, наберется, да главное – как считать.

Первых пятерых Фаддей быстро себе добыл. А потом заколодило! Даже когда к Егору перешел, удача в руки не шла: как бой знатный, так они черт-те где болтаются. Не без пользы для сотни, конечно, но так ведь и до десятка никогда не доберешь! А Чума уже и серебра наилучшего припас на то кольцо.

И здесь такой случай ушел! Лесовики – не ратники, взять их легче, а в счет идут одинаково; глядишь, и получил бы сегодня заветное кольцо. Эх, да что теперь-то...

А тем временем и рухлядь в раздел пошла. Воинское железо первым выставили. Много-мало, а шесть полных телег. Ратники, даже те, что в дележе не участвовали, невольно вытянули шеи. Лука с Аристархом разложили на деревянном помосте одиннадцать полных бронеи. Не сказать, чтобы особо хороших, но у новиков глаза огнем загорелись. Им такое богатство за великое счастье кажется. Чума усмехнулся – его это железо не впечатлило и, кроме торговой стоимости, другой оценки не удостоилось.

«Аристарх знает, что делает. Ну так потому он и староста... Доли, конечно, все по честному поделены, но ведь как исхитрился, редька едкая! Доспех весь новикам и ушел, да не абы кому, а наилучшим. И правильно! Ребят поддержать надобно, особенно тех, кому пока что купить неподъемно. Когда они еще с меча добудут?»

Ага, разрозненная броня осталась. Ну-ка? Личин там нет? Нет. А остальным хоть подавиться.

Ну, нет же, глянь-ка! И тут не промахнулся! Ровно у кого чего не хватает, тому и перепало! Ну и верно, справа воинская – не цацки бабские. Тут делить с умом надо, а то потом больно дорого обходится...»

Две телеги опустели. Что там еще-то? Лука сдернул дерюгу.

Ну, ничего себе! На телеге ровными снопами лежали пучки стрел. Да каких! Те, что в верхних рядах, явно по полусотням разобраны и во всю длину увязаны смоленным полотном, чтобы не перетягивались и не гнулись при хранении. Наконечники в воске – защита от ржи, перья жиром промазаны. По торцам судя, дерево на древки пошло многолетней сушки в темном месте, вываренное в масле и лаченое от влаги. Ох, и много же трудов на них потрачено! Зато такая стрела воды не боится и прочна неимоверно.

Чума присвистнул. От доли, такими стрелами выделенной, только полный дурак отказался бы. За пучок с граненым наконечником пару холопов дадут, не задумываясь, где хочешь, а то и трех.

Настроение испортилось окончательно. Ну что тут скажешь – умен Лука, умен. То-то Фаддей удивлялся, чего это рыжий десятник холопов умеренно брал. Знал, конечно, что

дальше на дележ выставят. Вот теперь его родичи бесчисленные и загребли, почитай, две трети всех стрел.

Четвертая телега ничем особо не удивила. Луки так себе – охотничьи, колчаны тоже. Пара сотен наконечников, опять же охотничьих, широких. Нужны, конечно, кто спорит, но трепета в сердце ратника не вызывали. Древки стрел, оперенные и еще нет. Наконечники копий и сулиц, хотя и немного. Несколько хороших щитов – в общем, вещи необходимые, но в целом обычные и мало интересные.

Не ожидая больше ничего особенного, Чума решил было уходить, даже шаг в сторону успел сделать, но тут из последней телеги достали несколько секир, с пяток приличных мечей, еще с десятков весьма хреновых и... Фаддей застыл на месте.

Аристарх выложил на помост Нечто. Чума видел подобное в молодости, когда ходил с сотней на запад ляхов гонять. Еще тогда ему это оружие глянулось, а уж теперь!

И какими путями могло попасть в лесную глушь такое чудо – неведомо, но вот же оно! Меч, да не просто меч, а...

Длиннее обычного примерно на локоть и даже с виду тяжелее; лезвие, разделенное надвое широким долом, плавно сужалось и сходило на нет остро заточенным кончиком. Таким можно колоть не хуже копья. Широкая крестовина полностью прикрывала руку и должна была хорошо защищать от ударов, скользящих вдоль меча. Рукоять, охваченная кожаными ремешками, плотно подогнанными друг к другу, заканчивалась массивным граненым яблоком, которым можно дробить головы не хуже обычной булавы. Украшений почти не было, если не считать простенькой насечки да невнятного клейма мастера на основании лезвия. Вроде ничего особенного, разве крупнее и форма несколько иная, чем привычная, но чувствовалась в этом куске железа сила, которая переходит к воину, владеющему этим клинком.

Сами собой начали сжиматься ладони, будто ощутив в руках тяжесть и силу оружия. Сердце подпрыгнуло, а душа замерла. Это его! Это только для него! С таким... Чума не мог найти слов, да и не искал их. Он готов был отдать за этот меч всю свою долю, напрочь забыв, что в дележе не участвовал. Все вокруг перестало существовать – остались только Фаддей и меч.

Вот ушли к новым хозяевам секиры, затем остальные клинки. Чума непроизвольно подошел к самому помосту. Очередной жребий – и чудесная вещь перешла во владение к Евдокиму, молодому парню из десятка Луки.

Мир рухнул. Чума поднял глаза и встретился взглядом с самим Лукой. Тот кивнул и тут же слегка развел руками: понимаю, мол, тебя и сочувствую, только что поделаешь. Жребий.

Фаддей резко развернулся и зашагал домой.

«Да засунь ты себе в жопу свое сочувствие, дятел языкатый! Нужно оно мне... Кому отдали?! Сопляку! Да этот дрыщ прыщавый его не то что к делу применить – даже не удержит! Ухватился вон, как баба за уд, орясина... Руки ему за такой хват поотшибать и гонять до соплей кровавых, а Лука, нет бы своего щенка вразумить, только лыбится... Да что он сам- то в клинках понимает? Лучник, тьфу! Чего доброго, этот криворукий еще и обрежет его покороче. Сам не сумеет – в кузню снесет. Переделает рукоять на одну руку... Нет, угробит клинок, как есть угробит! Тьфу ты, редька едкая!»

Фаддею хотелось выть от злости и обиды на несправедливость судьбы. Или морду кому разбить – лучше бы, конечно, Луке. Хоть он и не виноват, но ведь понимать должен! А тут еще воспоминания накатили... И снова только подразнили его!

Не любил Фаддей вспоминать те времена, чего уж там, да вот меч этот. И сказать совестно, что сделали с тем, первым клинком, который когда-то взяли у ляхов.

Ведь он еще тогда должен был Фаддею достаться! По всем законам – ему! А он только и успел в руках подержать, да махнуть пару раз, но до сих пор все помнит: И тогда, как сегодня, то оружие ушло на жребий. Вроде и справедливо, только неправильно – он же тот меч сам в

бою взял, да пойдй докажи... Ну, в прошлый раз и спорить не стоило – Фаддей тогда только-только ратником стал, к тому же прежний староста под отцом Пимена ходил. Много с чем Чуме смиряться пришлось, тот меч еще не самое обидное, но именно он помнился. А-а-а! Да чего там, изуродовали в тот раз оружие! Если бы он тогда в хорошие руки попал – не так бы обидно было... И сейчас то же самое будет!

Накручивая себя такими мыслями и чуть не подпрыгивая от злости, Чума шел домой.

Чем ближе он подходил к своему подворью, тем злее становился. Все в жизни шло не так! Вроде и начал подниматься за последние годы, и в десятке у Егора, наконец, себя на месте ощутил, и дети, хоть и шепутные малость, а не хуже других, и дом хороший, и хлеб всегда в достатке. Но точила душу какая-то мелочь, какая – Фаддей и сам толком понять не мог.

Кольцо серебряное, опять же, никак в руки не давалось, а значит, слово свое он перед Варькой так и не сдержал, хоть и обещал, что сватать ее придет с этим кольцом на пальце. Вот-вот четыре десятка за спиной останутся, и от врага вроде никогда не бегал, и рубиться умел, а все никак!

А тут еще холопы в мор перемерли...

Чума зло сплюнул и остановился – вспомнил, зачем, собственно, оставался на дележ, будь он неладен! Холопы же! Возвращаться не хотелось. Видеть, как молокосос швыряет в кучу своих трофеев такое оружие, казалось выше его сил. Пнул изо всех сил ни в чем не повинный чурбак, что валялся в стороне, ногу отшиб, но злость немного отпустила. Однако назад тащиться все-таки пришлось – хозяйство своего требовало.

Дележ подходил к концу, непристроенной оставалась только разнообразная хозяйственная рухлядь. Много утвари вывезли ратники из Куньева городища! Не бедствовали куньевцы, ибо мужи там жили задиристые и железом погреметь не дураки. И в походы ходили, и добычу брали, холопов с чужих земель тоже, бывало, приводили. Вот уж кому не повезло, так это холопам из Куньева. Раз похолопили, так теперь все заново повторилось. Нет уж, лучше сразу под нож, так жить Чума не смог бы.

Фаддей кивнул, соглашаясь с самим собой. А ведь куньевские и не сдались. Если бы не редкостная удача Корнея да не глупость его же сватьяшки, не видать бы ратникам ни добычи, ни победы, которой годами будут хвастаться те, кто пошел с Лукой.

«Нет, ну прям хоть Луке или Рябому иди кланяйся, просись в десяток, а то, чего доброго, так по миру пойдешь. С Егором прибытков ждать, видно, бесполезно. Не зря бабы судачат, что он свою удачу за морем вместе с братьями похоронил, только тень от нее до дома донес. Хоть и не дурак, совсем не дурак, и десяток умеет в руках удержать, а вот, поди ж ты – опять промахнулся, а ты тут без доли сиди!»

На дележ выложили кухонную утварь. Чума оживился, увидев среди добра медный таз, ну точно в пару тому, что он лет пять назад привез из похода. Им Варвара гордилась не меньше, чем всем остальным хозяйством в целом. Еще бы! Большой, с красивой чеканкой и серебряной насечкой по стенкам до самого дна. Сваренное в таком тазу медовое варенье не подгорало и, главное, хранилось потом, не плесневея, до нового урожая.

Вот такой подарок Варюха бы точно оценила! Фаддей проследил, кому достался таз, и снова помрачнел. Да-а, Данилу жена просто живьем съест, если он такую посудину кому продаст.

Так же ушли и хорошее тесло с плотницким топором, что глянулись Чуме, и ворот со сверлами и несколько отличных заступов и еще много чего, и с каждой потерей Фаддей все больше мрачнел.

Не везло, так уж не везло. И ладно бы дураком был, так нет – кто и умом помельче, и совестью пожиже его обошли: Паньку сколько раз за дурость били, а тут чуть не целую телегу добра увез.

Вот только с холопами Чуме и подфартило: тот же Панька от большого ума продал семью – еще не старых мужа с бабой, да девку молодую с парнишкой-малолетком. У справного хозяина такое добро не выторговать, а этому все одно не впрок. Но это Варюхе подмога, а вот чего по хозяйству... Нет, черную полосу так просто не переломить!

Варька, оглядев приведенных мужем холопов, выбор его одобрила и, пока он обедал, выпросила, кто что может и чем раньше занимался. Осталась довольна, и, накормив, придела и выделила всем какую-никакую обувку из своих запасов. Не потому озаботилась, что серебром за них плачено, и губить товар жадностью не резон, а от того, что хоть и холопы, а тоже ведь люди. Земля пока только на проталинах видна, да и та не теплее снега. У девки ноги аж синие, а ей рожать еще. И с холопами по-людски надо: все под одним Богом ходим.

Но и Варьке настроение испортила Анисья, жена Данилы: по всему селу металась, дуреха, со своим медным тазом. Назло Варваре прямо у ее двора баб в кучу собрала и хвалилась, коза драная, Варька же как будто не слышала, нет чтобы заткнуть соперницу! А ведь обычно и по меньшему поводу спуска никому не давала. Наверняка мужу в укор.

Хотя он-то тут при чем, спрашивается? То, что с каждого похода не с одной телегой добра возвращался, уже и забылось. Опять за простоту свою пострадал, за то, что юлить и выгадывать за счет других не научился. Именно такого – веселого, бесшабашного, с чертом в голове – она когда-то и полюбила. Пусть и жили они шумно, снабжая слухами все Ратное, и доставалось ей под горячую руку, да и сама Варька обиды молча не глотала – не ромашка полевая. Всяко случалось, короче, но все же хорошо жили!

Следующим утром, захватив с собой главу холопской семьи и его бабу, Чума отправился на саях за село, где в версте вниз по реке готовил поле под новый огород. Деревья там свели еще по осени, но не вывезли. Вот теперь, пожалуй, самое время. И бревна пригодятся – холопам тоже крыша над головой нужна, не тесниться же им всем в одной избе, не скотина все же – люди.

Снег ночами подмерзал, и сани шли легко. Чума надеялся сделать пару ездов, до того как наст снова станет рыхлым от солнечного тепла.

За тын выехали, едва развиднелось, и тут Фаддей натянул вожжи. Он никак не ожидал узреть такое: десятка полтора отроков, ровесников его сыну, возились в снегу, изображая не то драку, не то бой с палками. На крошечном взгорке стояли Рябой с Игнатом, чуть в стороне на свернутой овчине уселся Лука. Десятники наблюдали за возней мальцов и время от времени выдавали копошащимся внизу соплякам какие-то указания.

Чума даже рот открыл: давно такого в Ратном не видели.

«Последний раз, поди, еще при старом Гребне... Нет, и после учили, хоть уже и не так, а вот когда Корней ногу потерял... Стало быть, снова взялись. Учат ведь, редька едкая, учат! Эт надо же! Сам Лука, значит...

А моего чего не позвали? Ну, Егор, ну, сапог дырявый, опять в лужу дунул! У-у, мать его, редька едкая, о чем только думает? Самому, что ли, к Луке подойти? Так ведь пошлет. И далеко. Его право: он-то с чужих десятков брать не обязан. Вон Игнат подсуетился, и сыновья его ратников тоже там.

Не-ет, пусть-ка холопы бревна сегодня сами тягают. Надо все же с Лукой переговорить. Может, плату ему посулить за своего? Не грех на такое потратиться, сторицей вернется. Но ведь потом Веденю в свой десяток затребует... А и ладно, чем плохо? У Луки вон последний новик жирнее рвет, чем у нас Егор, даром, что десятник».

Передав вожжи холопу и наказав, что надо, Фаддей вытянул из-под бабы дерюжку, бросил ее рядом с Лукой и присел, словно просто решил полюбопытствовать на учебу.

Видно, это было первое для будущих новиков занятие. Уметь они ничего не умели, но старались, как могли. Результатом их рвения уже стали несколько разбитых носов, с десяток совсем недурственных фингалов и пара подранных рубаш. Мальчишки обуты в поршни с обмотками, на руках – рукавицы, порты тоже, наверное, не одни пододеты, на головах шапки, а вот на плечах только рубахи, да поверх них плетенки из ивняка, вместо кольчуг, но от холода воинские ученики не страдали.

Конечно, никакой серьезной учебы пока что не шло, просто десятники решили показать отрокам, чего они стоили, или, правильнее, что ничего они пока не стоили. Командный рык перемежался смехом и подначками, вызывая в душе Фаддея почти забытое мальчишеское чувство счастья. Просто от того, что молод и все подвиги впереди. А они будут, да еще какие! От того, что надо только постараться – и весь мир ляжет к твоим ногам. От того, что уже завтра на них будут глазеть девчонки, и надо хоть из портов выпрыгнуть, но быть первым!

На душе стало легко и радостно. Заботы и неудачи последнего времени отступили куда-то в сторону, отпуская его на волю, и Чуме отчаянно захотелось самому нырнуть в эту кучу бестолковых пацанов. Захотелось поорать, получить по носу, вклепать кому-нибудь по лбу и, вывалявшись в снегу, возвращаться домой и хвастаться подвигами, над которыми так хохотали старые воины. Даже живот свело от мальчишеского восторга.

– Да чо ты его, как девку, за жопу?! В морду надо, в морду! – не выдержав, заорал он.

Рядом заржал Лука...

Чуть погодя Рябой остановил отроков и стал что-то объяснять. Лука и Игнат спустились вниз и присоединились к этому увлекательному процессу. Чума остался на пригорке в одиночестве и сам не заметил, как нахлынуло, казалось, давно забытое.

Вовсе не походили эти пацаны на тех, с кем сам он начинал постигать воинское искусство. Ну, совсем не то! Его и учили не так, да и учил-то поначалу отец. А потом старый Агей, отец нынешнего сотника, придумал тех отроков, которых родичи не отдали в Перунову слободу, на обучение воинской службе ставить скопом. А то, вишь ты, дома всяк по-разному выучить норовил. Вот и повелел он тогда согнать на учебу будущих новиков, не всех, конечно, только тех, чьи родичи сами согласились чтобы старый вояка, которого откуда-то притащил сотник, наставлял мальчишек в воинской сноровке. Мог бы, наверное, и сам, так ведь сотник же. Не то чтобы не по чину, а времени- то где набраться? Да и не по характеру ему это – неумеху и пришибить мог.

Ратник усмехнулся, глядя на суесящихся внизу отроков.

«Вам бы с наше попробовать. ОН бы вам враз показал черта задницу! ОН...»

* * *

Тот весенний день – только снега пали, да просохла площадка перед церковью – Фаддей помнил до сих пор, да так, что запах того талого снега и шум того весеннего ветра и сейчас слышал и чувствовал.

И чего только не плели про него новики, каких только баек друг другу не пересказали! Откуда что бралось, не знал никто, но принималось все за чистую правду без колебаний. Получался ОН сущим зверем, извергом непотребным, жаждущим крови новиков. И вдобавок к тому – непробиваемым дурнем.

Говорили вроде, ратнинский он. Но чьих – никто точно не помнил. Видно, потому и ушел в молодости из села искать счастья в чужих краях, что тут никого своих не оставалось. Так бобылем всю жизнь прожил, на нем род и пресекся. Оказывается, и молодого Лисовина он же когда-то учил, да еще пару новиков. Нынешнего старосту Аристарха, к примеру, пока того отец в слободу не отправил. В лесу их учил, тайно, только от глаз-то все одно не скроешься, и выходило, что Корней стал зверь- зверем как раз с того обучения.

А уж когда ОН верхом на лениво переступающем коне, расслабившись и только что не засыпая в седле, въехал в ворота Ратного, у молодых парней сердце похолодело.

Гребень... Кто ему дал такое имечко – Бог весть. Какое отношение имела бабья вещица к этому душегубу, неведомо. Короткая борода, сросшаяся с усами, скрывала часть шрамов на его лице, глаза. Да черт его знает, Чума до самого конца не мог определить ни их цвет, ни форму: Гребень никогда не смотрел людям в лицо, взгляд его все время упирался куда-то то ли в грудь, то ли в живот собеседнику. Некрупный сам по себе, но как-то так выходило, что здоровенные мужи подле него мельчали. Так при появлении матерой рыси крупный лесной олень вдруг перестает быть грозным.

Вот и в тот день, покачиваясь в седле, словно муж с гулянки, Гребень доехал до дома Агея и, как девица со ступеньки, легко, одним плавным движением, соскользнул с коня. Что он там решал с Агеем, никто не знал, только на следующее утро, до света, будущих новиков выгнали за тын.

Забыть того утра Чума никогда бы не смог. Забыть свой страх, который совершенно непонятно почему гнезился в самом низу живота. Накануне Сенька Хомут полдня распинаясь о тех зверствах, которые ждут отроков, отданных в учение, о страшном ноже у пояса Гребня, которым тот заставит добывать совсем изнемогших в учебе товарищей. О том, что если захочет мысли чьи-то узнать, так его крови себе в похлебку добавит и все как есть скажет – даже самое тайное, о чем и себе признаться боишься. Да много чего еще плел. Отроки Сеньке и верили, и нет – тепло он, конечно, врет, наверное. А если не врет? Дыма-то без огня не бывает.

Заложив большие пальцы за поясной ремень, Гребень разглядывал каждого отдельно. Чума отчетливо помнил свои тогдашние мысли: «Первую жертву выбирает».

В строю начались легкие шепотки.

– А ну, замолчь! – как медведь рыкнул. – А теперь слушайте, сопляки... – голос уже не рычал, а звучал ровно. Почти ласково, как у лисы, уговаривающей пойманную мышь не волноваться. – Повторять не буду. Кто слаб, пусть уходит, сейчас в том позора нет, – помолчал, ожидая, но никто не шелохнулся. – Кто останется, помните: железом махать я вас научу. Воинами стать сможете только сами. А не стал воином, значит, стал покойником. Или татем, коли душа червивая. Обратной дороги не будет. Пока солнце не встанет – думайте, ваше время.

Чума грустно улыбнулся: нет Гребня, уж сколько лет, как нет. Надо Варваре сказать, чтобы завтра свечку за него поставила. Не помешает.

* * *

Лука по праву числился в Ратном одним из лучших воинов, и опыта ему было не занимать, хотя, конечно, до Гребня он не дотягивал. Но науку старого рубаки Говорун не забыл – его самого Гребень когда-то вот так же приводил в воинское чувство, а теперь десятник сам мальчишек с того же учить начал.

«Глянь – всей толпой по целине к тыну погнал. А те-то обрадовались! Во как стараются! Самые здоровые вперед ломятся, а кто похитрее за ними пристроился, по проторенному. У тына обгонять начнут, чтобы первыми... Ага – точно! Эти самые умные, значит... Ну, Лука всем вставит! Нет еще понятия у щенков, в догонялки играют! Нельзя в бою только о себе думать, иначе всем смерть. Сильный слабому помочь должен, тогда и слабый сильному – опора. А эти пока что всяк сам себе конь необузданный. Хотя... Мы-то разве лучшие были?»

В груди опять что-то тихонько заныло. Ну что такого сладкого в тех синяках, что о них душа, как по девке в молодости, плачет? Не только же годы молодые?

На заборорах тем временем появились зрители. Даже бабы там! Ну, еще бы, за кровиночек своих переживали – так бы и побежали рядышком. Чума гоготнул: ох, сегодня Лука не

проикается, когда мамки синяки да ссадины на сынках своих считать начнут. Бабы – они на то жизнью и поставлены, чтобы рожать да выхаживать, а ратнинские, хоть и знали сызмальства, для какой судьбы сыновей растили, но сердце-то все равно за них рвали.

А на тыне всю разгорались страсти.

– Илюха, глянь! Твой-то, никак, штаны потерял! – орал здоровенный, но бестолковый Охрим. – Не отморозил бы чего, без внуков останешься!

Лука недвусмысленно поднял кулак, но уже поднявшийся на заборолу Игнат отвесил дураку пинка, одновременно спихнув того в сугроб. Правильно, одобрил Чума, глупой насмешкой мальчика сломать легко, только вот Ратному нужны несломленные воины.

– На пузе, малявки, на пузе! – заходился весельем совсем молодой парень, сам еще недавно точно так же пахавший снежную целину носом и оттого получавший двойное удовольствие. – Сопли не заморозьте!

Ну, этому можно, пускай... Чума только хмыкнул: конечно, парня ждет внушение от Луки, но позже, не при мальчишках. Его подначки не страшны, сам еще года в ратниках не ходил, потому и заслуг никаких, и насмешки его веса не имели. Повеселиться, конечно, не возбраняется, но меру тоже знать надо. Ага, вон тот же Игнат его в ребра ткнул.

А десятники уже строили отроков у ворот. Чума поднялся и направился поближе к месту действия: Лука, если в ударе, такую речь завернуть может – отцу Михаилу со всей его грамотой не придумать. Бывало, неделями по селу пересказывали, да к Луке же и обращались, так он говорил или не так. Тот только плечами пожимал, откуда, мол, я-то помню? Говорун, одно слово.

Отлаял Лука, как Чума и думал, всех скопом и каждого в отдельности. Строй по мере его разноса менялся цветом. И без того румяные мальчишечьи лица краснели еще больше, а зрители на заборолу ржали еще громче. И выходило у десятника, что все-то здесь стоящие парни brave и толк из них выйдет. Но потом. Когда-нибудь. Может быть.

А пока и дурни-то они. («Кто ж целину во всю ширь вспахивает, цепочкой надобно!»)

И себялюбцы никчемные, силы товарищества не понимающие. («Коли бы по очереди дорогу торили, всем бы легче стало»).

И до славы безмерно жадные. («А ведь слава из общей доблести идет. В худом воинстве и Вещий Всеслав, как золотая крупинка в горсти песка речного, цены не имел бы!»)

И слабы телом. («Вон до тына едва доползли.») И.

К концу речи десятника под мальчишками только что снег не таял. Закончил Лука уж совсем неожиданно:

– Ну, теперь так, значит. Молодцы, парни! Если так и дальше держаться будете, выйдут из вас добрые ратники! А теперь домой, к мамкам, пусть накормят! И чтобы завтра сами здесь меня ждали. Ну, что стоим? Кого ждем? Бегом, пока ноги к насту не примерзли! – и уже со смехом, – эй, бабы! Забирайте мальцов. И чтоб в последний раз вас всех на заборолу видел!

Фаддей слушал рыжего десятника и усмехался про себя: из Говоруна сейчас словно сам Гребень глянул. Среди десятников разные попадались – и краснобаи, как Лука, и молчуны, из которых в обыденной жизни слово не выжмешь, но все до одного прошли через то учение. Оттого стоило им оказаться перед строем желторотых новиков или, вот как сейчас, учеников, так все равно их голосом старый Гребень вещать начинал. И слова его любимые, и присказки, и вообще – по его речь лилась, и все тут!

Разговор с Лукой оказался для Чумы тяжелым, и если бы не сын, так послал бы Фаддей рыжего болтуна куда подальше. Сам бы Веденю выучил, хоть и понимал, что стрелок из него, в отличие от мечника, неважный. Нет, конечно, не вовсе чтоб никакой, но с тем же Петрухой из их десятка не сравниться, не говоря уж про Луку. Тут уж выбирать приходилось, ибо очень редко кто умудрялся одинаково и в мечном бою, и в стрельбе преуспеть, но отроку, чтобы

выбрать, прежде самому надо понять, какое оружие ему к руке и сердцу ляжет. Опять же, к Корнею с Аристархом Говорун близок, глядишь, и те мальцов чему-нибудь при случае научат: мечника лучше старосты Фаддей не встречал. Да и Корзень, даром, что наполовину обезножел, а схлестнуться с ним Чума никому бы не присоветовал. И от Игната с Рябым есть чему поднабраться, и в строю воевать парня учить надо, а что за строй из него самого да сына?

Вот и терпел Фаддей, пока Говорун соловьем заливался, да что-то про себя выгадывал. Но согласился десятник сразу, оговорив, как и ожидал Чума, последующую службу сына в его десятке или десятках Игната и Рябого. Справа для учения и харчи, ежели куда в лес пойдут на несколько дней – это само собой. А вот от серебра Лука неожиданно отказался, чем сильно Чуму озадачил и даже насторожил – не задумал ли Говорун чего недоброго? Хотя в подлости подозревать его повода не было, но никогда рыжий выгоду не упускал, а тут сам бог велел – ведь из чужого десятка берет. Неужто Веденя Луке так глянулся? Тогда чего сам не позвал? Или ждал, когда ему поклонятся? Ну да ладно, за сына язык у Чумы не отсох, и спина не переломилась, а нрав свой... Чай, не двадцать годков, иной раз и в узду прибрать не мешает.

Варька от такой новости только охнула. Ждала, конечно, но все равно, как гром грянул. Служба воинская – не мед и не малина, ей ли не знать. Хоть и везло Фаддею в бою, но раны и ломанные кости сколько раз привозил вместе с добычей. А теперь вот и сыночку время пришло. Понимала, что другого и быть не может, и завтра громче всех баб своим сыном хвалиться станет, но сердце все равно мышкой в щель забилося.

А вот сам Веденя (крещен он был Венедиктом, но как-то сразу оно сократилось у Фаддея до Ведени, да так и осталось) изменился. Еще с утра шалил и сестер поддразнивал, а теперь, глянь, враз посерьезнел и на сестрины подначки только с превосходством усмехался. Мол, чешите-чешите языками, на что вы большее-то годитесь? Все одно не постичь вам нашего мужеского понятия.

Варька весь день то втайне от всех носом хлюпала, то, наоборот, громче обычного с соседками через калитку переругивалась, то что-то собирала сыну, словно провожала не на полдня, а на целую зиму. Дочерей посадила одежду его чинить да попутно объясняла: нечего-де губы дуть, брат в мужское дело идет. Выучится – их же защитой станет, и замуж, глядишь, с его воинской доли они пойдут, младшая-то уж точно.

День получился на удивление длинный, Варвара успела и к колодцу сходить, баб просветить: и сын-то у них в учение не просто так идет, а сам Лука Фаддею кланялся отпустить к нему Веденю. Они бы с мужем еще и подумали; коли бы старый Гребень жив был – тогда конечно, а так... Но десятника решили-таки уважить, согласились.

А вот ночь ей далась тяжело; и сама не спала, и Фаддею мешала. Он хоть и поворчал на нее, но больше для порядка – понимал, что маетно бабе. Мысли, поди, ее одолевали – одна ужасней другой. Знала, что дурь в голову лезет, да совладать с собой не могла. Вон, два лета назад новик после учения без глаза остался. А у Пантелея сынка мертвым привезли; хоть и давно было, а все же.

Утром, затемно еще, попыталась накормить парня посытнее, пока Фаддей не рявкнул. Ему ж полдня бегать да железом махать, как с набитым-то брюхом? Лучше бы к обеду побольше приготовила, когда и вправду есть захочется.

Сам Чума для сына припас подарок – все же день сегодня знаменательный. Парня, уже готового бежать к месту сбора, опоясал кожаным поясом, на котором висел простецкий короткий нож в таких же простых деревянных ножнах. Этот самый нож когда-то повесил самому Фаддею на пояс его отец, дед Ведени, точно в такой же день.

Ну, вот вроде и все. Пора. Младшая сестренка хлюпнула носом, старшая цыкнула на нее: молчи, дура, разве можно?

А отроку казалось, что все это не наяву происходит, а во сне – чудесном и немножко страшном.

Хлопнула за спиной дверь, и до ворот проводил только отец.

Глава 2

Отрок Веденя

Начало учебы далось Ведене тяжело. В первый же день он едва добрался к обеду до дому. Рубаха, несмотря на прохладу, промокла насквозь. И от снега, и от пота. Все болело, а синяков нахватался – за всю прошедшую жизнь, наверное, столько не набрал. Мать только вздохнула коротко и... смолчала – раньше-то из-за единой ссадины непременно нашла бы чего высказать. А тут.

Не с гулянья парень пришел. Его, и на скамье-то сидючи, шатает, а он не пикнет. В отца. Фаддей, бывало, тоже к речке, где они встречались, весь избитый приходил, не то что целоваться – сидеть ровно не мог, а все хорохорился – ерунда-де. Варька тогда нарочно пораньше домой уходила, хоть и страсть как не хотелось. А теперь и сыну та же дорожка выпала.

Сестры, с утра решившие встретить брата песенкой про ратника-неудачника, не начав, умолкли, едва Веденя перешагнул порог.

– Ну, что стоите? – Варвара прикрикнула на дочерей, стягивая с сына рубаху. – Рушник неси! А ты слей брату! Да куда тебя на улицу понесло?! Теплой давай! Вон на печи с утра поставлено – глаза разуй...

– Тятенька-то завсегда холодной, – попробовала оправдаться старшая.

– Тащи с печи, говорю! – приказала Варька. – Указывать она мне тут будет! Вот подашь ледяной воды мужу, когда он умается – сама в той кадке и окажешься! – усмехнулась она, глядя на вспыхнувшую от обиды дочь. – Учить вас еще и учить, бестолковых. Отец-то холодной с утра полощется, со сна, когда сил вдосталь. Вот тогда ледяной охолонуться – самое оно, от того жар внутренний только шибче. А тут парень вусмерть умаялся – с чего у него жару-то быть? Так, тепла остаточки. А надолго ли в избе тепло, коли печь не горит? Запоминай, тебе мужа обихаживать, не все же за мамкой бегать!

Дуняша насупилась, а младшая уже стояла рядом с рушником в руках и, разинув рот, слушала мать. Нет, и раньше, когда отец приходил из похода, они много чего видели и слышали, многому учились, но тогда и не по годам им еще было, и не по уму. А сейчас выходило, что на учебу их братик пошел, а науки на всех троих хватит.

– Среди воинов растете. Ладно, Снежанка малая, а тебе, Дуняха, знать уже пора: сильно уставших, болящих и раненых теплой водой обмывают, – продолжала наставлять дочерей Варвара, между делом подталкивая старшую, чтобы та, заслушавшись, не забывала лить воду на спину и шею согнувшегося над шайкой брата. – Она все мертвое с тела смывает. Кровь да испарина, как наружу выходят, так умирают, а умершее, сами знаете, гниет да смердит. Если ран нет, а царапины только, то иной раз и без лекарки обойдется: кровь смоемся, а сукровица потом ляжет чистой корочкой. Тогда и заживет быстрее, и горячка не привяжется. Ну, если что серьезнее, то травами, конечно, хорошо бы. Но это уже тетка Настена подскажет. Поняли?

Обе одновременно кивнули.

Когда Веденя подошел к столу, сестры уже поставили глиняную миску, полную горячих щей, в которую обе по очереди бухнули побольше сметаны, отчего щи чуть не вышли из берегов.

Брат уселся за стол, и младшая подала ему самую красивую ложку в доме – расписную, с резьбой на ручке. Ее Снежанке с полгода назад подарил дядюшка, не чаявший души в своей младшенькой племяшке. Щи Веденя проглотил едва не с ложкой вместе, почти без остановки. Дуняшка, собралась было подлить добавки, но мать не дала.

– Ну чего смотришь? Щей-то не жалко, да ему сейчас все мало, – пояснила Варвара в ответ на недоумение, мелькнувшее в глазах дочери. – Нельзя от пуза жидким наливать. Каши с мясом давай. Да мяса, мяса побольше, оно сейчас нужнее травы. Мужики не телки, чтобы траву

пустую жевать, ну так и телки от молока не отказываются. А воину мясное надо, да пожирнее – а то какой с него толк?

Веденя, не обращая внимание на разговоры – похоже, и не слышал, о чем мать с сестрами толкуют – умял и кашу. Тепло и сытная еда свое дело сделали: отрок едва сидел. Глаза напрочь отказывались глядеть, и последние ложки он проглатывал, не поднимая век, а горьковатый сбитень с немалой долей меда, поданный матерью, выпил, уже засыпая. На большой сенник, расстеленный сестрами, рухнул, как в яму.

Девчонки, с утра измышлявшие подначки для брата в надежде повеселиться, смотрели теперь на него, спящего глубоким сном. Пока Веденя мылся, они разглядели, как густо покрыто его тело синяками и ссадинами, и потихоньку приходили в ужас. Ничего себе учеба! Хорошо, кости целы. А ведь только первый день!

– Вижу-вижу, языки чешутся, – ставя сушиться на печь поршни сына и развешивая там же его одежду, улыбнулась Варвара. – Спрашивайте.

– Мам, а за что нашего Веденю били-то? – не выдержала первой Снежанка, привязанная к брату больше старшей. Дуняша уже заглядывалась на соседских отроков, а для младшей пока что олицетворением мужской силы и красоты оставался брат.

– Да не били его, – пояснила Варвара, – учили.

– Ага... А чего тогда вон... – Девчушка показала глазами на почти сплошь покрытые синяками плечо и руку Ведени, выпроставшиеся из-под одеяла, по-детски искренне переживая за любимого брата.

– Так иначе и не научишь. – Варвара небрежно пожала плечами – дескать, что тут такого? – хотя у самой за каждую царапинку сердце кровью обливалось. Кабы не дочери, может, и повздыхала над сыном, но при них никак нельзя... – Чего испугались-то? Подумаешь – царапины да синяки! А то не видели никогда? Привыкайте, такая уж судьба наша – с воинами живем, воинов и рожаем. Вы вон шить учились, иголкой сколько раз укололись, пока приловчились? А тут не иголкой – тут оружием обучают владеть. И синяки эти не страшные – заживут, а ему после жизнь сохраняют.

– Жизнь? – охнула Снежанка. – Как это?

– А вот так! – поджала губы Варвара. – Тут его деревянными палками да кулаками охаживают, чтобы потом острым железом не попало. – Она на миг притянула к себе дочерей, коротко обняла их, отпустив, щелкнула шутливо слегка и одну, и вторую по носу и добавила с явной гордостью: – Отец-то на месте Веденюшки и не поцарапался бы, сапог бы не замочил даже! Ну, так на то он и воин, всеми уважаемый! А Веденя сегодня только первый день. Вот научится, станет ратником наилучшим, и с ним тоже тогда никто не сладит!

– Да, как же! Сопливый еще! Станет он. – Долго сдерживаемая девчоночья вредность выплеснулась неожиданно для самой Дуняши. Да и привыкла она, что братец младше ее, иной раз и командовала им, а уж посмеивалась так и вовсе частенько. Сама тут же поняла, что ляпнула глупость, и рада бы себя по губам шлепнуть, но видя, как возмущенно раскрылись глаза младшей, упрямо идя поперек себя, язвительно добавила: – когда Снежанка бабкой станет. Ой! – мокрое полотенце хлестко прошлось по физиономии, оставив яркий красный след на щеке, да так, что слезы из глаз брызнули.

– А ну, цыц! Еще раз услышу – неделю у меня не сядешь! Сопли подбери и впредь думай, что ляпаешь. – Не на шутку рассерженная Варвара добавила Дуняше для закрепления урока подзатыльник и, уперев руки в бока, словно с бабами у колодца, оглядела дочерей и уверенно провозгласила: – Станет! А то и в десятники выбьется. Род наш такой, никогда в хвосте не плелись! Отцу не удалось – так в том его вины нет, кабы была ему в молодости поддержка – он бы и сотником стал! Ну так мы-то с ним для вас стараемся... И вам тоже дурехами неучеными жить не годится – замуж дур никто не возьмет.

– Так мы же учимся! – Снежанка даже зашла от обиды. – Я уже все буквы знаю!

– Учиться-то вы учитесь, – хмыкнула мать, глядя при этом не на нее, а на враз залившуюся румянцем старшую. – А кто в прошлое воскресенье, вместо того, чтоб грамоте учиться, сбежал на салазках кататься, пока я отвернулась? А? Задница-то, небось, до сих пор чешется?

– Да всего раз только. – шмыгнула носом Дуняша, невольно одергивая юбку на упомянутом матерью месте. – Лисовиновы девки всех позвали – им дядька Лавр салазки новые сделал, с узорами, да раскрасил.

– Вот и я тебе салазки раскрасила. С узорами! – хмыкнула мать. – Понравилось? Позвали ее. Лисовиновы-то девки, поди, сами и грамоте учатся, и еще чему, может, а ты рот раскрыла! Снежанка скоро лучше тебя грамоту будет знать – ее первую замуж возьмут, а ты так на салазках с узорами и прокатаешься! А еще брата судишь! Запомните: он теперь воинский ученик, и уважать вы его должны как старшего! Обе!.. А вообще, – уже ласково улыбнулась дочерям Варвара, – в нашем роду ни дураков, ни дур отродясь не водилось! Вот и вы у меня умницы и красавицы, получше Лисовиновых! И нечего на них заглядываться, подумаешь, наряды! Вам брат с отцом еще и не таких теперь с похода привезут, вдвоем-то!

Фаддей вернулся домой задолго до заката: и умаялся сильно – все же бревна тягать дело тяжкое, и сына хотел встретить с учебы. Жаль, не успел.

В сенях на новом колышке висел плетенный из лозняка щит и тут же меч – деревянный, с кругляшом вместо гарды, чтобы рук по первости не искалечить. Все в полном порядке и вычищенное. Чума довольно улыбнулся: первый день, а придраться не к чему.

Сына Фаддей поднял за час до ужина – и чтобы расхотелся немного, и по нужде надо, а то ведь и проспать это дело можно. Девкам-то смех, а нельзя, невместно, как- никак воинский ученик. Случалось такое и с отроками, и с новиками – так порой уматывались, что и не замечали, как нужда свое брала. Да и поговорить не помешает.

Поднялся Веденя быстро, но мотало его при этом, как пьяного. Сели за стол, Дуняша пристроилась было рядом, но Фаддей так на нее глянул – только что юбка под задницей не задымилась: не к месту влезаешь, сейчас мужи беседуют, не до девичьих хаханек. Мать тут же ей дело какое-то сыскала да еще за косу дернула, и дочь как ветром сдуло.

Вроде ни о чем существенном и не говорили они с сыном. Чума поведал, что приволокли сегодня шесть возов бревен, да вот топор править надо. Веденя покивал, соглашаясь, и сообщил, что ничего в первый день сложного в учебе не было, и Лука его похвалил за выучку и сказал, что меч деревянный у него легковат, затяжелить бы надо.

Разговор неспешный, вдумчивый, вроде и ни о чем, да только вот шел он между равными. Впервые Фаддей говорил с сыном, как с мужем. Конечно, младшим в семье, но с мужем, а не с мальчишкой. И это глава семьи дал почувствовать всем. Холопка у печи вздохнула с пониманием, Варвара довольно улыбнулась, Дуняша смолчала, но упрямо поджала губы и вздернула нос, а Снежанка пискнула от радости. Еще бы! Брат стал еще старше, еще красивей и сильнее. И взялась мазать царапины Ведени жгучей мазью, которую мать еще накануне принесла от Настены, а сама при этом морщилась и страдала больше брата.

Вечер наступил быстро, и после ужина Чума отправил сына спать: уж он-то прекрасно понимал, что завтра Веденю ждет день не легче.

* * *

И в следующий, и последующий дни, и дальше, так, что он и со счета сбился, сил у Ведени хватало только на то, чтобы поесть и дойти до нужника, да на вечерний разговор с отцом. Синяки загаром покрыли плечи, хотя на боках стали убавляться. Снежанка каждый вечер, сопя, мазала брата пахучей мазью и потом, забившись за печь, ревела тайком ото всех. Несколько раз бегала к Юльке, лекаркиной дочке, но возвращалась расстроенная: не

было у лекарей чудодейственного снадобья, о котором рассказывал когда-то столетний Живун. Раньше Снежанка верила, что надо будет – и найдется средство волшебное, которое и царапины враз зарастит, и синяки сведет. Только вот, похоже, нет его на самом деле. Брехал, стало быть, старый, сказки пустые рассказывал. А в поветрие помер со всеми стариками, теперь и не спросишь, было то зелье на самом деле или нет.

Может, просто ратнинские лекарки не все знали? Живуна-то не зря так прозвали, долгую жизнь старик прожил, говорили даже, еще сотник Агей мальчишкой его сказки слушал. Зимой вечера долгие, со всего Ратного в его избу ребятишки сбегались послушать. И чего только в тех сказках не было! И меч-кладенец, который сам врагам головы рубит; и щит охоронный серебряный, от любых ударов спасающий, от стрел вражьих укрывающий; и шлем воинский наговорный, ратника от врага скрывающий, глаза недругу отводящий и мороков бестелесных на супротивника насылающий; и веточка заветная о семи листиках и семи цветочках, цвета разного, только в ведьмин день людям являющаяся и семь же желаний исполняющая, ежели наговор волховской семь раз по семь до рассвета прочесть успеешь...

И про страшное, и про смешное старик рассказывал. Веденя, как и другие мальчишки мечтавшие стать ратниками, бывало, его выпрашивал, где сыскать семь источников, что из-под семи камней бьют и честному ратнику дают семь достоинств воинских. Живун только посмеивался загадочно, сказывал: вырастешь, да коли воином справным станешь, сами те источники тебе откроются. Ну что бы Снежанке тогда у него про другое вызнать! Про зелье чудодейственное, что любые раны в одночасье заживляет и кости сращивает – старый Живун и про такое говаривал. Мала была, не сообразила!

А уж как Снежанке то зелье надобно было! У брата места для новых синяков не хватало, а они все прибавлялись. А царапин-то сколько! А заноз-то! Mamka говорила, печь ими топить можно – столь их из братика повытаскала. Очень то зелье сейчас пригодилось бы! Говорил еще, правда, Живун, что только в руках девицы красной, которой парень глянулся, силу свою оно имеет. Так и что? Снежанка и не дурнушка совсем, а вовсе даже красивая. Федька соседский, когда Ведени рядом не оказывалось, прохода не давал, дразнился. А мамка не раз говорила: раз дразнится, стало быть, нравишься. И сильнее нее Веденю не любил никто. Найдет она то зелье, обязательно!

И Юлька не помогла – девчонка же, в лекарском деле многого не знает. К самой тетке Настене надо бы сходить, но боязно – вдруг она зелье колдовское варит? Дунька вон говорила, кто чужой на то глянет, так и превратится сразу... Из чего зелье варится, в то и превратится. Конечно, тетка Настена добрая, это все знали, нарочно плохого никому не делала, но под горячую руку ей лучше не попадаться.

И мыши у нее летучие прирученные. Снежанка сама не видела, но про это в селе и так все знали. Говорили, что кормила их лекарка и обихаживала, а они ей приносили семена да лечебные травы, которые можно только ночью собирать. Человеку-то ночью живородное зернышко русалочьей травы или пыльцу цветка змеевника никак не углядеть! И все равно эти мыши противные. Но хочешь не хочешь, а идти к тетке Настене придется, за печкой сколько ни реви – толку никакого, только нос распух и глаза красные, как у той мыши летучей. А страшно-то как!

Учеба у Ведени шла своим чередом. Дни словно слились в один, вроде бы всего ничего времени прошло, а уже и лето скоро... Снег весь стаял, и грязь на дороге стояла непролазная. Лука отрокам спуску не давал. Бегали они теперь с двумя мешками, набитыми песком – один на спине, другой на груди. Вес-то небольшой – всего по пятку полных горстей, набранных самими отроками, да ведь до самого обеда плечи тянет. И привычно вроде стало, а все равно, как скидывали те мешки у ворот под навес, так словно гору с плеч сбрасывали. Правда, идти потом несподручно, ноги сами вверх подбрасывают. Девки- хохотушки нарочно к колодцу у

ворот приходили к обеду, позубоскалить над мальчишками, пока кто-нибудь из баб не разгонял дурех по домам.

Тяжко отрокам учеба давалась, особенно тем, кого дома не учили ничему – отцам ли лень было, или матери слишком жалели. Ведене приходилось проще, чем многим другим. Чума хоть и слыл самодуром, а сына с малолетства и на охоту, и на рыбную ловлю с собой брал, и там времени не жалел, чтобы обучить всему, чему можно. Всего шесть лет Ведене минуло, когда Фаддей заказал Лавру небольшой топорик, мальцу по руке, и потом тот на повале чистил от веток стволы, стараясь не отстать от отца.

Сколько раз у Фаддея сердце обрывалось и в груди холодело, когда чудилось, что сын вместо ветки по ноге себе попал. Чего уж говорить о Варваре! Она и смотреть-то боялась по первости, когда Веденя во дворе хворост рубил на растопку. Мальчишке-то что – он тогда и не понимал ничего толком, а теперь руки окрепли, и топор у него большой, мужской. Зато и в учебе легче. Чума сына и к луку сызмальства приучал, и, едва тот ходить начал, на коня посадил.

Все бы и хорошо, только синяков меньше не становилось и уставал Веденя по-прежнему сильно. Понятно, что не вышивкой сын занимался, а все же закрадывалась Чуме в душу тревога, и он тайком ото всех не раз наблюдал за занятиями отроков то с опушки леса, то из прибрежного ивняка. На первый взгляд, Лука все правильно делал: и гонял в меру, не напрягая мальчишек сверх сил, и глупостей не допускал. Ладно у него все выходило, не зря в его десяток новики сами просились. Ничего непотребного сказать про рыжего десятника Чума не мог.

Одно настораживало Фаддея: как начиналась учеба кулачному бою или борьбе, так непременно попадался Ведене напарник крупнее его; не так чтобы намного, но все же заметно. Чума хорошо знал, что значат в борьбе лишние полпуда. Даже матерому воину, хочешь – не хочешь, а приходилось принимать в расчет больший вес противника, что уж говорить о подростке! Это, пожалуй, и неплохо: привыкнет парень против сильного стоять, потом легче справится с равным себе. Но не постоянно же так – и с более легким соперником бороться тоже надо уметь.

Когда доходило до палочного боя, тут Веденя и вовсе в первых был, не зря с ребячества топором махал, да отец ему и еще кое-чего показывал между делом. Но зачем тогда все время так мальчика трудить? Вот и мелькала подлая мысль: с одной стороны, может, так оно и надо – учеба воинская никогда легко никому не давалась, а с другой...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.